

Дмитрий ЛАГУТИН

*Дмитрий Лагутин родился в 1990 году в Брянске. Окончил юридический факультет Брянского госуниверситета. Победитель конкурса «Всемирный Пушкин» (2017 и 2018, номинация «проза»), лауреат премии «Русские рифмы» «Русское слово» (2018, номинация «Лучший сборник рассказов»), один из победителей конкурса «Мост дружбы» (2018). Публиковался в журналах «Новый берег», «Нева», «Нижний Новгород», «Дальний Восток» и др. В «Волге» публиковался рассказ «Сердце» (2018, № 7-8)*

СТЕПНАЯ, 1

*Повесть*

Юридический факультет занимает здание бывшего аэровокзала. Аэровокзал иначе называют терминалом аэропорта.

Раньше по просторному холлу стучали каблучки бортпроводниц и скрипели пластиковыми колесиками чемоданы, а теперь между колонн толпятся студенты – шумные, беспокойные. Половина всех окон смотрит на поле, изрезанное взлетными полосами. Аэропорт съехал отсюда лет двадцать назад, и поле густо заросло. Солнце всходит с другой стороны здания – из-за деревьев и высоток – а иначе половина окон каждое утро озарялась бы нежными рассветными лучами.

Зато вечером – особенно зимой, когда солнце садится рано – аудитории, выходящие на поле, пылают закатным огнем.

Адвокатуру читали – и, кажется, продолжают читать – в двести десятой. Двести десятая смотрит на поле. Я всегда просачивался в самый угол, к окну – не из стремления к прекрасному, а потому что адвокатура – нестерпимо скучный предмет, и если остальные лекции второго курса еще можно было сносить, сцепив зубы, то на адвокатуре я был готов выть от тоски.

И поэтому я рвался к окну, как к спасению, и полтора часа – с крошечным, смешным перерывом в середине – блуждал взглядом по полю.

Справа от факультета возвышался ангар, и из окна двести десятой его было видно почти целиком. Большая часть стекол была выбита, бока сочились ржавчиной, и ворота – ворота были такими огромными, словно предназначались для великанов.

Самыми частыми гостями на поле были автолюбители, так называемые «ученики» – кто-то кого-то привозил, усаживал за руль, и машина начинала, дергаясь, ползть из стороны в сторону. Машины то и дело глохли, натываясь на невидимую стену, ревели, как раненые звери, и производили впечатление жалких подневольных существ, вынужденных терпеть любые издевательства.

Одно время по полю бегали какие-то дети – и пускали воздушных змеев. Наблюдать за воздушным змеем – большое удовольствие, которое выпадало на мою долю раза, наверное, три, не больше. Видимо, детям змеи наскучили, и они перестали приходить.

На столешнице – в самом уголке – была выцарапана ножом роза ветров. Она была выцарапана очень старательно и аккуратно – вероятно, кто-то так же, как и я, маялся от скуки – и искал способ ее победить. Я даже как-то раз одолжил в столовой вилку, и за половину пары выцарапал вокруг розы ровный круг, как бы рамочку.

Здесь я должен отвлечься и вступить за адвокатуру – иначе у читателя возникнет неверное представление о том, как у нас на юридическом факультете преподают.

Преподают у нас хорошо, не хуже, чем у других, во всяком случае. А с адвокатурой дела и вовсе обстоят замечательно. Все дело в том, что в какой-то момент, проползая жуком по второму курсу, я решил, что юриспруденция – это не мое, что взявшись за нее, я, наверное, совершил ошибку, что надо было идти на какой-нибудь там иняз или истфак. Но я был нерешительным – и, буду честен, довольно апатичным – молодым человеком и оправдывал себя поговоркой про грузди и кузов и про «стерпится-слюбится» – и все в этом роде. А адвокатура –

уж не знаю, по какой причине – оказалась для меня в самом центре разочаровавшей меня за полтора года юриспруденции. Вот бывает такое – невзлюбишь человека без видимого повода, и годами на него косо смотришь. То же случается и с предметами – вот не пошла мне адвокатура, и баста. Даже если бы ее в стихах нам преподавали или в фильмах со спецэффектами – я бы все равно жался к окну и ковырял вилкой столешницу.

Адвокатуру читал Павел Александрович – невысокий, смугловатый, флегматичного вида, коротко стриженный человек.

И вот здесь и начинается, собственно, мой рассказ.

Павел Александрович родился и вырос в Казахстане, зачем-то приехал в наше захолустье, закончил этот самый юрфак и остался на нем преподавать. У Павла Александровича были темные круги под глазами, он немного сутулился и казался старше своих лет. Ему на момент моего второго курса было лет тридцать пять или около того.

Когда он читал лекцию, он снимал с запястья часы и принимался перебирать ремешок одной рукой – и перебирал его безостановочно. Нетрудно было заметить, что человек он, что называется, нервный.

Я видел его на старых факультетских фотографиях – в стенгазете. Худенький, смуглый мальчишка с длинной шеей. На казаха он был совсем не похож, потому как им и не являлся; а что он делал в Казахстане, почему там родился и рос – понятия не имею.

Факультет на фотографиях выглядел точно так же, как выглядит сейчас – узкие темные коридоры и просторный светлый холл. Только тогда можно было курить прямо в аудиториях, и в столовой продавали пиво.

Когда Павел Александрович поднимался по лестнице с папкой бумаг или стоял в очереди в буфет – хотя мог же и не стоять! – можно было подумать, что это замкнутый, угрюмый человек. Таким он казался со стороны. Но если вы приходили на лекцию – даже если она вызывала в вас такую же тоску, что и во мне – вы видели, как угрюмость постепенно растворяется и сквозь нее проступает увлеченность, открытость и даже какое-то упоение – какое-то даже, я бы сказал, болезненное воодушевление.

Павел Александрович у нас считался, что называется, «головастым дядькой» – и те из нас, кто к юриспруденции был если не расположен, то хотя бы лоялен, сразу принимались перед ним благоговеть.

Однажды по полю, по тому, что осталось от взлетной полосы, проехала такая машина – знаете, передвижной трап. Выглядит так, как будто с «нивы» сорвали крышу и водрузили на ее место лестницу. Она подъезжает к самолету, и по трапу спускаются – или поднимаются – пассажиры. И вот эта штука просто проехала по полосе из одного конца в другой, постояла несколько минут в раздумьях, развернулась, проехала обратно и скрылась. Выглядело так, будто она заблудилась и немного опоздала.

Совсем немного.

\*\*\*

С третьего курса мой закадыка, с которым мы тогда были не разлей вода, как-то затесался в центр правовой помощи при факультете. Это бесплатный юридический кабинет, в котором консультации дают студенты. Я бы в такой за советом не пошел – ну да ладно. Основной клиентурой были бабульки, которым, понятно, не с руки разоряться на маститых юристов. Они приходили и сидели подолгу, раскладывая на столе справки из БТИ, потрепанные свидетельства и договоры, написанные от руки.

Но перед этим они, конечно, проходили через просторный холл в узенький коридорчик, увешанный стенгазетами и справочными материалами, шли по коридорчику до самого конца, а в самом конце сворачивали в сторону и попадали в неприметный закоулок, в котором и темнела внушительно дверь с глазком. Табличка слева от двери гласила:

«Центр правовой помощи».

Зачем центру правовой помощи потребовался глазок, можно было только гадать.

Центр, как и двести десятая, смотрел на поле – но только, понятно, с первого этажа, и поле маячило как будто под самым носом – надоест сидеть за бумагами, откроешь окно и уйдешь в рябую даль. А какой-нибудь лентяй будет за тобой следить, сидя на адвокатуре.

Зачем мой закадыка подался в центр – кто знает? Но мне, понятно, пришлось идти за ним, а то какой же он мне закадыка?

Ну, я и пошел.

А главным в центре – вот те на – тот самый Павел Александрович. Закадыка мой был у него на хорошем счету – по семинарам – его сразу взяли, а я как будто за компанию, вдруг получится?

– Юриспруденцию, – говорю, – люблю. Жить, – говорю, – без нее не могу. Мало мне, – говорю, – теории, требует душа практики.

Взяли.

На первое время Павел Александрович поставил нас дежурить с самой занудной зубрилой из всех возможных – чтоб она нас натаскивала, как новобранцев. Но зубрила нас тогда терпеть не могла, а юриспруденцию любила, как родную мать – и всех клиентов брала на себя. А мы с закадыкой сидели и мотали на ус – как это ловко у нее все получается.

Набирались опыта, значит.

Она нам иногда говорила что-нибудь вроде:

– Распечатайте, пожалуйста, если не сложно, ГОСТ по наружной рекламе. Спасибо.

Она была всегда жутко вежлива и говорила тихо-тихо, но это, конечно, потому, что она тогда нас терпеть не могла и за людей не считала. Хотя у моего закадыки была какая-то предрасположенность ко всей этой юриспруденции, да и я со временем втянулся – и как втянулся! Практика, что уж говорить.

Мы дежурили вместо двух-трех пар в неделю. Если клиентов не было, мы с закадыкой сидели у компьютера в наушниках – по одному на брата – и смотрели фильмы. Зубрила восседала в кресле Павла Александровича – за широким директорским столом. Она не вылезала из «Консультанта», а мне этот толстяк с сотней подбородков надоел хуже горькой редьки.

Забегая вперед, скажу, что центр правовой помощи на два года стал для меня домом родным – и именно благодаря нему я после четвертого курса оказался в состоянии прилично трудоустроиться, оформив заветное «свободное посещение».

Но тогда я еще был совсем дуб дубом, мне поручали самые простые вопросы и я, как мог, со скрипом тащил их на своей широкой спине.

Павел Александрович приходил в центр в перерывах между лекциями – и в «окна». Он через весь факультет нес из буфета кофе – шел медленно, не сводя глаз с пластикового стаканчика, – входил, садился за свой стол и принимался печатать. И стучал по клавиатуре так свирепо, что треск стоял по всему этажу. Но лицо при этом было каменное – ни один мускул не вздрогнет. Только изредка нет-нет да ухмыльнется в кулак.

Он несколько раз публиковался в юридических журналах. Такие, оказалось, существуют – и находятся уникамы, их читающие. А однажды он даже издал книжку по авторскому праву – ее распространяли в интернете, спрос был что надо.

Я скачал ее, открыл – и тут же закрыл. Я понял, что, как бы ни полюбил юриспруденцию, это вот выше моих сил.

Зато зубрила наша с ней носилась – смотреть смешно.

Я хотел сказать об этом позже – а потом решил и вовсе не говорить – но чувствую, что надо сейчас. Итак, сообщаю, забегая вперед, что мой закадыка, как только я ушел на «свободное посещение», пригласил зубрилу замуж, а она возьми и откажись. Но потом она все-таки согласилась, и была свадьба – такой скучной свадьбы мир еще не видел. Гости только что не спали, но закадыка просто сиял. Как-то она его захомотала, в общем.

Но это так, к слову.

На столе у Павла Александровича стояла крутейшая вещь – песчаный пейзаж. Это такая рамочка на подставке. Рамочка наполовину наполнена разноцветным песком, наполовину –

зеленой жижей. Рамочка вращается – перевернешь ее, и песок сыпается сверху вниз тонкими струйками, и получается пейзаж – горы, долины, все прямо как настоящее.

Я посмотрелся на такую диковину, и купил себе такую же. Поставил дома – в сервант. Только у меня жижа была оранжевая, а не зеленая, но это мелочи.

На большие праздники городские власти прибегали к услугам нашего поля. За факультетом ставили сцену, приглашали выступающих – и потом еще неделю по полю катались бутылки и бумажки. Как-то к нам в центр, в открытое окно, залетел билет на концерт какой-то брянской группы. Это было забавно.

\*\*\*

А однажды к нам – мы тогда сидели вдвоем с закадыкой, зубрили не было – зашла Наташка с четвертого курса, «старичок» центра, и прикрикнула:

– Так, лодыри, скидываемся!

Мы захлопали по карманам, закадыка спросил подозрительно:

– А на что?

Наташка выпучила глаза.

– Вы совсем? У шефа день рождения!

Это был наш первый год в центре, мы еще ничего не знали. Мы сдали деньги, и Наташка исчезла.

Оказалось, что день рождения у шефа только через месяц, но подарок, который придумали старички, требовал времени на подготовку.

Через месяц мы все пришли раньше обычного. Понабились в центр – не продохнуть.

Кто-то командует:

– Откройте окно!

Открыли, а за окном зима – поле белое-белое, небо затянуто облаками – и они как будто тлеют – это с другой стороны солнце встает. И снежок в окно посыпался – мелкий, робкий.

Сразу стало уютно, и я почувствовал себя в кругу большой семьи. Такой семьи, в которой половину родственников по именам не знаешь, но с которыми очень хорошо сидеть рядом за столом и звенеть бокалами.

Закадыка протиснулся к подоконнику, сгреб снег и запульнул снежок в поле. А потом взял еще щепоть – и сунул за шиворот зубриле. Зубрила взвизгнула, а Наташка отвесила закадыке звонкий подзатыльник.

Мы надували воздушные шары, а девчонки привязывали их к чему только могли, и скоро шаров стало больше, чем людей.

В углу, на стуле красовался здоровенный бумажный сверток. Это был подарок. Мы с закадыкой несли его от Наташкиной машины – чуть спины не сорвали.

– Что внутри? – спросил я Наташку.

– Кирпичи.

Наконец все было готово. Мы стояли и ждали. Павел Александрович задерживался. В коридоре стоял топот – студенты разбегались по аудиториям.

Кто-то заикнулся про лекцию, его зашикали.

Проорал звонок, топот усилился, потом затих.

Я оглянулся на окно – в шею дуло. Облака горели огнем, подоконник припорошило. Я подтянул воротник повыше, но закрыть окно постеснялся.

Наконец дверь раскрылась, и в кабинет ввалился запыхавшийся Павел Александрович. Он остановился, обвел нас взглядом, и сказал:

– О.

Наташка вышла вперед.

– Дорогой Павел Александрович! От всего коллектива центра правовой помощи позвольте...

И все в этом духе. Мне дуло в шею, я, не оборачиваясь, протянул назад руку, нащупал створку окна и прикрыл его.

– И мы очень вам благодарны за все, что вы делаете, мы без вас – никуда, – закончила Наташка.

Павел Александрович стоял и улыбался – немного застенчиво. И на каждую фразу кивал головой – соглашался. Он так и стоял – в пальто, и на плечах у него таял, превращаясь в прозрачные бусины, снег.

– И позвольте преподнести вам...

Наташка кивнула старичкам, и стул с подарком выехал из угла. Наташка принялась разворачивать бумагу.

Я на носки привстал, чтобы увидеть, что там.

Из свертка показались две стопки книг. Я решил, что это тот же самый трактат об авторском праве, приуныл и опустился с носков. Теперь я не видел свертка, а видел только Павла Александровича – по грудь – и курчавый затылок одного из старичков.

Павел Александрович выглядел очень удивленным – и обрадованным. Он как-то засмутился – теперь это было совсем очевидно, склонился над свертком и взял одну из книг. Открыл, перелистал.

Потом поднял глаза.

– Спасибо, ребят.

– Тут тридцать экземпляров, – сообщила Наташка.

Павел Александрович только руками развел – смутился.

Помолчали немного.

– Ну, по такому случаю жду вас завтра после занятий – на застолье, – сказал Павел Александрович воодушевленно. – Сегодня не получится, а завтра – милости прошу.

Все радостно закивали. И я закивал – радостнее всех.

– А сейчас, извините, у меня лекция.

И Павел Александрович стянул пальто – бусины посыпались на пол. Все стали, огибая стул, просачиваться к двери. И все, перед тем как выйти, жали Павлу Александровичу руку и поздравляли.

Когда я поравнялся со стулом, то понял, что зря унывал. Мы несли из Наташкиной машины не занудные трактаты об авторском праве, а нечто совсем иное. На обложке пылала какая-то ядерная абстракция, а поверх нее красовалась фамилия Павла Александровича с инициалами и надпись: «Город джаза». А ниже: «рассказы».

– Ребята, пожалуйста, поторопитесь, у нас семинар, – затараторила зубрила, толкая меня в спину.

Мы шагнули к имениннику, пожали холодную руку, промямлили что-то и побежали на семинар.

А сразу после семинара нас потащили на конференцию в главный корпус, и мы с закадыкой даже не успели забежать в центр. Мы замотались в шарфы и поплелись вместе со всей группой мимо сугробов – дорогу до нашего аэровокзала никто не чистил так, как следовало бы, и вдоль тротуара стояли целые горные хребты. Утро было отличным – солнечным, ясным. Мы даже немного покидались снежками, а закадыка упал в сугроб и все никак не мог выбраться.

В тот же вечер я слег с температурой – почти на неделю. И на застолье, конечно, не попал.

Ох, как же мне было обидно!

\*\*\*

Когда я вернулся в строй, закадыка с лету засыпал мои раны солью. Я еще дверь за собой не закрыл, а он уже орал:

– Погуляли на ура!

Я состроил гримасу и сел дописывать иск о возврате долга, который начал неделю назад. В центр приходила тетка, махала перед моим носом распиской и триста раз повторила, что у должника нет совести. А потом я пересчитывал проценты по долгу за каждый год с учетом триста раз изменившейся ставки рефинансирования – то еще веселье. Тетка мне телефон оборвала, пока я в горячке лежал, только что домой не приехала; договорились, что явится, как только я выйду, и я имел глупость ей сообщить, что вот, пожалуйста, вышел.

А закадыка все кружил вокруг меня и нахваливал гулянку. Он теперь, я так понял, был со всеми старичками на короткой ноге – потому что один из них заглянул к нам, окликнул закадыку каким-то мерзким прозвищем и поздоровался с ним, как с родным братом.

За неделю в центре – кроме авторитета моего закадыки – изменилось еще кое-что. Раньше тумбочку под зеркалом делили между собой истертый журнал посещений и трактат об авторском праве. Теперь эти двое жались к краям, а в центре пестрел «Город джаза».

– Наш экземпляр, – гордо пояснил закадыка.

– Наш с тобой?

Он величественно обвел рукой кабинет – так воевода обводит дланью панораму взятого города.

– Наш, – выдохнул он.

Я отложил иск – с непривычки от всех этих цифр рябило в глазах, всю сноровку за неделю потерял – и дотянулся до книги.

– Я за кофе, – сказал закадыка. – Тебе брать?

– Ага.

Он выгреб из куртки мелочь и вышел.

Обложка была что надо – твердая, глянцевая. На обороте был указан только год, ни тебе аннотации, ни фотографии автора.

В книге было двенадцать рассказов. Я выбрал самый короткий и стал читать.

Описывался мир, в котором люди живут в поездах. И пребывают, понятно, в постоянном движении – куда глаза глядят. Мутная история – мир вроде как не заканчивается, какая-то пространственная аномалия. И они расстояние измеряют временем – месяцами, годами.

И все ищут обрыв – который зовут «концом горизонта». А что там за ним такое – никто не знает; и зачем его искать, соответственно – тоже.

Рождаются в одном поезде, когда приходит пора, слезают с него, пересаживаются на другой. И так по пятьсот раз за жизнь.

И есть у них такое поверье: если встретил дважды одного и того же человека – случайно, по пути – значит, почитай, до обрыва недалеко.

Но закончить рассказ я не успел – дверь распахнулась и на пороге выросла тетка с распиской. Я начал мямлить что-то – почти готово, еще вот секундочку – она цыкнула и села за стол. Ждать, значит. Ну а я вернул книгу на место и вернулся к иску.

Зашел закадыка с кофе.

– Может быть, кофе? – спросил я тетку.

– А что у вас за кофе?

Я посмотрел на закадыку.

– Три в одном.

– Нет, спасибо, я пью черный.

Я зачем-то решил состроить из себя джентльмена.

– Сходить за черным?

Она заерзала недовольно – это ж я тогда от ее циферок оторвусь, как же так.

– Я схожу, – зачем-то состроил из себя джентльмена мой закадыка, поставил стаканы на стол и вышел.

Потом он вернулся, вручил кофе тетке и уселся в кресло Павла Александровича.

И я еще полчаса мучил ее иск. Под конец у меня уже голова пухла, все эти проценты, номера статей и вся эта казенщина – «согласно тому-то», «в соответствии с тем-то», «исходя из того-то» – у меня перед глазами водили какой-то дикий хоровод. Поставив точку, я вдруг

решил, что где-то обязательно ошибся – и принялся все перепроверять, а потом еще и закадыку подключил.

– Ты вот тут опечтался, – зашипел он, заглядывая мне через плечо.

– Где?

Он ткнул пальцем в экран.

Я вместо «по истечении» написал «по истечение». Это был пустяк, но меня это подкосило – если я в такой ерунде маху дал, то что говорить о цифрах? У меня даже ладони вспотели. Это было мое первое мало-мальски серьезное дело.

А тетка тем временем выпила кофе – морщилась так, будто пьет воду из лужи – постучала по столу длинными малиновыми ногтями и без спроса подтянула к себе книгу.

– Что это? – спросила она.

«Книга», – чуть не ляпнул я.

– Это у нас... руководитель пишет, – ответил закадыка.

– Да? – она сделала удивленное лицо. – Ничего себе.

Она принялась листать «Город джаза».

– Фантастика?

– Вроде того.

А я продолжил проверять иск. Я проверил все цифры еще раз – и теперь намеревался проверить все статьи, на которые ссылался. И, как оказалось, не зря. Дважды вместо «ГК» я написал «ГПК».

Тетка листала-листкала, а потом захлопнула книгу и сказала:

– Недурно.

Она положила «Город джаза» на тумбочку и повернулась к окну.

– Но я фантастику – не то чтобы...

Она не договорила. Закадыка висел над моим плечом и читал иск.

– А какой у вас тут вид! – воскликнула она так внезапно, что мы вздрогнули.

День был солнечный, и поле за окном сверкало так, что больно было смотреть.

– Но не сегодня-завтра все это застроят... – вздохнула она.

– Не застроят, – вступился за поле закадыка. – Это муниципальная собственность.

Она посмотрела на него с усмешкой.

Я, наконец, решился пустить иск на печать. Сверху вниз по каждому листу тянулась широкая серая полоса – даже как-то стильно смотрелось. Тетка пробежала текст глазами, вздохнула и встала.

– Спасибо вам за работу, мальчишки.

И она положила на стол триста рублей.

Мы смутились.

– Да чего уж...

– Дело-то несложное...

Она улыбнулась победно и вышла.

А у нас в центре было правило: если кто из клиентов расщедривается – все идет в общую кассу. Касса жила в верхнем ящике стола и представляла собой коробку от телефона Нокia. Чей это был телефон и кто пожертвовал центру коробку – мы не знали. Мы спрятали деньги в кассу и пошли проветриться – лекция шла полным ходом, и на факультете царила благоговейная тишина.

– Только я на улицу не пойду, – предупредил я.

– Почему?

– Только выздоровел.

Закадыка почесал затылок.

– Тогда пошли до столовой, пожрем.

– Пошли.

И мы пошли в столовую. В столовой было солнечно, уютно, за прилавком плавал туда-сюда, точно белый кит, огромный повар в колпаке. Мы взяли по котлете с толченкой и по

стакану сока. Кроме нас в столовой было человек пять – четверо первокурсников, вздрагивающих от каждого шороха, и милейший старик, в прошлом году преподававший нам конфликтологию. Он ел борщ, и от борща у него все усы были красные.

– Смотри, – кивнул я на него закадыке.

Закадыка скосился на старика, прыснул и подавился котлетой. Он принялся кашлять, закрывая рот ладонью, а я перегнулся через стол и постучал его по спине кулаком.

Только отдышался – и завел свою шарманку:

– Нет, погуляли отлично. Жалко тебя не было.

Мне стало тошно, и я его перебил:

– Жалко-жалко. Ну, а ты читал?

Он нахмурился.

– Что?

– Рассказы.

– А, читал.

– И как тебе?

– Интересно.

– Все читал?

– Нет.

– А сколько?

– Два-три, – он допил сок. – Я фантастику не очень.

– А теперь похвали пейзаж.

– Что?

– Ну, по сценарию. Как тетка.

Он махнул рукой.

– Ай, ну тебя.

Он вдруг встал.

– Мне идти надо – договор составлять.

– Какой?

– Аренды.

– Аренды чего?

Он почему-то вспыхнул.

– Да что ты пристал? Аренды транспортного средства! С экипажем!

– Бричку?

Он не ответил и поволол поднос к стойке. Проходя мимо старика с красными усами, он склонился почтительно и поздоровался.

Я не спеша доел, выцедил сок, взял чашку чая и смотрел, как через поле бредет какой-то чудака – по колено в снегу, напролом. Чудака шел, пока не превратился в точку, точка все уменьшалась и, наконец, исчезла за деревьями с той стороны. Там была рожица, а за ней сразу центр города.

Когда я, наконец, вернулся в центр, намереваясь дочитать историю про мир железных дорог, книги на тумбочке не было: забегал кто-то из старичков и умыкнул ее на лекцию.

\*\*\*

О том, что Павел Александрович родился в Казахстане, я узнал из нашей факультетской газеты, которая выходила раз в месяц.

Газета была, в общем-то, недурной – если не брать в расчет намерзевший юридический юмор, которому с особым пиететом отводили последнюю страницу. Дескать, вишенка на торте. Шутки писали наши кэвээнщики – и это была такая стыдоба, что и вспоминать совестно. Но в остальном – газета удавалась. В каждом номере было по два интервью – с преподавателем и студентом. Студентом, понятно, не абы каким, а отличившимся. Однажды было интервью с нашей зубрилой – она выделилась на каком-то конкурсе.



Был еще один минус – качество печати. В цвете печатали только обложку, все остальное давали на растерзание обычному принтеру – и оттого многие фотографии выходили совершенно непрезентабельными. Зубрила на одном фото стояла у куста сирени, на лицо падала тень, а получилось, что она в какой-то карнавальной маске. Она, когда увидела, так губы и надула – но смолчала.

И вот в февральском-то номере – как сейчас помню, холодина стояла лютая, по полю носилась, завывая, пурга – в февральском номере вышло интервью с Павлом Александровичем. Мы с закадыкой на паре читали.

Было про регалии, про конференции всякие. Про центр правовой помощи. Про трактат об авторском праве. А про рассказы – ни слова. Мелькнуло что-то про любимые книги – Азимов, Стругацкие – и все.

А между тем почти одновременно с выходом интервью на тумбочке под зеркалом появился еще один артефакт. Это был литературный журнал. И на тридцатой странице – рассказ Павла Александровича.

Этого рассказа не было в «Городе джаза», и я решил, что прочту его после того, как осилю сборник целиком. Еще половина оставалась, или около того.

Мы все поздравляли Павла Александровича – и я ждал застолья по случаю публикации, был предельно осторожен с проветриванием, но застолья не случилось. Досаду мою не описать.

Не было застолья и по случаю повышения – Павла Александровича сделали заведующим кафедры. Теперь он реже появлялся в центре, а когда появлялся, выглядел вымотанным. Он садился за свой стол, включал компьютер и с такой яростью стучал по клавиатуре, что мы всерьез боялись – и за него, и за нее.

Как-то закадыка отравился и слег – и я два или три раза дежурил в гордом одиночестве; а зубрилу от нас уже давно отселили, выделив ей самостоятельное время. Это был все тот же февраль, самый конец, погода – хоть на факультете ночуй. За окном метет, небо затянуто; курильщики отказывались идти на улицу и набивались в туалеты как кильки в банку. На них устраивались облавы – и понурых, пропахших табаком нарушителей партиями водили в деканат. Я сидел в центре, пил кофе, крошил на клавиатуру печенье и редактировал курсовую.

По коридору простучали шаги, дверь распахнулась, и в нее влетел Павел Александрович.

Он посмотрел на меня, кивнул и опустился в свое кресло. Загудел компьютер, экран бросил на сосредоточенное лицо голубые блики. Павел Александрович с ходу забарабанил по клавиатуре, но почти сразу осекся, убрал руки, скрестил их на груди, откинулся в кресле и задумался.

Мне стало неловко, и я стал прикидывать – уйти мне или остаться. С одной стороны – курсовая, кофе, крекер в форме рыбок. С другой – Павел Александрович.

Он взял со стола ручку и принялся постукивать ей по блокноту. Сидит и постукивает. А я – как на иголках.

Я попытался сосредоточиться на курсовой. Слышу – клавиатура. «Ну, – думаю, – можно остаться».

Раз – и опять тишина. Сидит, ручку вертит между пальцами. Потом и вовсе – скрипнул колесиками и отвернулся к окну вместе с креслом.

Я встал, кашлянул.

– Павел Александрович, я это... пойду перекушу.

Он обернулся, посмотрел на пакет с крекером – наполовину пустой – и пожал плечами.

Я вышел.

Было около четырех, шла пятая пара. Половина аудиторий – пустые. Я прошелся по коридору, стараясь шагать как можно тише. В холле только гардеробщица – сидит на стуле, скучает среди леса курток. Я поздоровался, она посмотрела подозрительно.

– Чего не на занятиях?

Я не ответил. Пересек холл, поднялся на второй этаж. Оперся на перила, постоял, глядя вперед. Холл почти целиком состоял из огромных окон, и за ними мела метель. Сугробы были

такие, что казалось, будто вокруг факультета вздымаются белые волны. Гардеробщица не спускала с меня глаз – сверлила просто, через весь холл, по диагонали.

– Чего не на занятиях? – повторила она.

Я закатил глаза и отошел от перил. Поизучал расписание – первый курс не учится в субботу! – посидел на диванчике. На меня наваливалась дремота.

Мимо прошла Марина Викторовна – она у нас вела трудовое.

– Чего не на парах?

– У меня дежурство в центре.

Она прищурила глаза.

– Разбаловал вас Павел Александрович.

И она скрылась за углом.

Я и вправду совсем обнаглел. Дежурство дежурством, а вот так расслаживаться – да возле деканата. Я встал, подождал, пока затихнут шаги, свернул в коридор. По левую руку в стене светились узкие оконца, похожие на бойницы – три штуки – в них можно было заглянуть, если росту хватит. Я подошел к ближайшему и привстал на цыпочки, уцепившись за раму пальцами.

Оконце выходило в потоковую аудиторию. Тянулись вниз ряды, на них тосковали студенты – наш курс. Вот мои одноклассники – рассеяны по рядам как горох. Строгая иерархия – отличники внизу, разгильдяи вверху. Вот и зубрила – в самом центре первого ряда, не поднимает головы от тетради – а если поднимает, смотрит на преподавателя так, словно хочет его загибнуть. А что у нас на галерке? Сидят с застывшими лицами, спят с открытыми глазами. Один – с закрытыми. Голову на грудь опустил, руки на столе – пишет, дескать. И даже ручку держит – в левой. Писал-писал, и вдруг закемарил – с кем не бывает?

Внизу, у доски, расхаживает преподаватель, жестикулирует, диктует.

В аудитории такие же окна, как и в холле – огромные, во всю стену. Здесь, наверное, раньше был зал ожидания – что-то в этом роде. За окнами метет так, что ничего не разглядеть – сплошная каша. Теперь кажется, что факультет оторвался от земли и плывет среди облаков. Горят под потолком лампы.

Меня заметили. Один из наших встретился со мной взглядом и давай сразу пихать локтями соседей. Я им помахал и скрылся.

Прошелся по коридору до самого конца. За кабинетом информатики – поворот налево и тупичок. В тупичке две двери и три кресла в ряд. Я уселся на среднее.

Где-то было открыто окно – по полу тупичка кругами завивался холодный воздух. Вероятно, с лестницы. Снова навалилась дремота. Я вспомнил спящего студента и улыбнулся.

Одна из двух дверей распахнулась, и в тупичок вывалился пятикурсник. Мы были знакомы. У него лицо было все в пунцовых пятнах, ноздри раздувались.

Мы поздоровались, и он сказал:

– Жди. Через год будет вам веселье.

И кивнул на дверь.

– Через два, – поправил я.

Он наклонил голову.

– А ты не на четвертом?

– На третьем.

Он хмыкнул.

– Самый кайфовый курс.

И спросил:

– Экватор гуляли?

– Ага.

– Вот. Нормальная группа. А мы...

И он развел руками.

– А где гуляли?

Я назвал место, он одобрительно кивнул.

– Ладно, – сказал он, – давай.

– Пока.

И он засеменил по коридору в сторону расписания.

В аудитории, из которой он вылетел, кто-то громко ругался. Я встал, подошел к двери, приоткрыл ее и в щелку посмотрел – что же это нас ждет через два года?

В аудитории рвал и метал местный тиран, гроза всего студенческого мира. Я был наслышан о его буйстве, знал его в лицо, но пары он вел только на пятом. А значит, пока и бояться было нечего.

Он заметил, что дверь приоткрылась.

– Что? – крикнул он. – Вернулся?

Я щелкнул замком и ретировался.

\*\*\*

Из тупичка я махнул на боковую лестницу, спустился и быстрым шагом двинулся к центру. Снова пришлось пересекать холл и ловить на себе подозрительный взгляд.

От холла я замедлился и пошел тише, а к центру подбирался и вовсе на цыпочках. Я подошел к двери и прижался к ней ухом.

Мне показалось, что я слышу, как стучит клавиатура.

Я постоял, раздумывая, но войти так и не решился. Была, конечно, мысль, что Павел Александрович строчит всего-навсего какой-нибудь отчет или очередную статью про авторское право... Но вдруг – нет? Войду – и прощай, шедевр. Я вздохнул и потащился обратно – решил попытать счастья со столовой. Столовую обычно закрывали в четыре, но иногда они там задерживались и до пяти, и до шести – и пускали студентов попить чаю.

В этом крыле факультета лестницы не было – и мне опять пришлось идти мимо гардеробщицы. В коридоре по стенам висела всякая всячина – я выудил с одного из стендов список тем для курсовых, уткнулся в него и пошел через холл. Дескать, я тут не просто так шатаюсь, а вот, пожалуйста, с документами. В рабочем, значит, движении.

Гардеробщица, смотрела на меня так подозрительно, словно собиралась вот-вот вызвать охрану, – но ничего не сказала.

Я поднялся на второй этаж и пошел к столовой – но еще издали увидел, что она закрыта. И табличка даже висела: «закрыто». И я уже было собирался возвращаться в центр и ставить под удар шедевр, как вдруг понял, что стою напротив той самой аудитории, в которой Павел Александрович нам читает адвокатуру. И я почувствовал, как по щиколоткам меня гладит ледяной воздух, волнами вытекающий из-под двери. Так вот где было открыто окно.

Но если там открыто окно, то там точно никого нет – не станут студентов так морозить, так и до бунта недалеко.

Я взялся за ручку – ледяная. Надавил, она поддалась. В щель пахнуло февральским морозом, свет не горел. Я огляделся по сторонам и юркнул внутрь.

В аудитории было жутко холодно и совсем темно – зато за стеклом сияла метель. Окно возле места, где я всегда сидел, было раскрыто настежь, в него выл, как в трубу, ветер и мело снегом – прямо на столы. Я подскочил, захлопнул – и в аудитории воцарилась тишина.

Я провел ладонью по стулу – сухо – и уселся. Зима точно расвирепела – как это я посмел ее прогнать – и хлестала по стеклу горстями снега.

Все таяло в белой пелене, и казалось, что само поле встает на дыбы и бросается на факультет. Рощи видно не было, домов за ней – давно, и только темное небо устало выгибалось где-то далеко вверху.

Я разглядел розу ветров и смахнул с нее россыпь сверкающих капель. Роза ветров, выцарапанная на черной столешнице, вбирающая в себя холодный прозрачный свет, выглядела очень таинственно. Я дотронулся до нее кончиками пальцев и стал водить по шероховатым лучам. Можно ли на ощупь понять, какой именно узор выцарапан на столешнице? Узнаю я свою розу, если ослепну? Я закрыл глаза и почувствовал, как сталкиваются, сменяя друг друга,

тонкие линии, выгибаются, зовут за собой – но отказываются складываться в цельную картину и рассыпаются во все стороны наподобие лабиринта.

А потом линии и вовсе иссякли, и пальцы заскользили по гладкой мокрой столешнице.

Заверещал звонок – и в ту же секунду факультет сбросил с себя оцепенение. Он точно вздохнул – по коридорам, по стенам, по потолкам и полам пробежал гул, вслед за ним захлопали двери и поднялся невообразимый гвалт.

Я встал, потянулся – так, что кости захрустели – и вышел. Мимо дверей несся поток из студентов, он вобрал меня, донес до лестницы, скинул в холл – гардеробщица палила по потоку очередями подозрительных взглядов – и понес к лесу из курток, но я увернулся, сделал усилие и вырвался в коридор, ведущий к центру.

Когда я вошел, Павел Александрович сидел в кресле и смотрел в монитор – что-то внимательно читал.

Шедевр, которому я помог своим отсутствием?

Я сел на место, и только тогда Павел Александрович меня заметил.

– Наелся? – спросил он совершенно серьезно.

Я кивнул.

Он одарил меня долгим взглядом, но ничего не сказал. А я уже был готов объясняться – что не хотел ему мешать и всякое такое.

Он выключил компьютер, перелистал какие-то папки и снял с вешалки пальто. Я думал, он так и уйдет, ничего не сказав – и тогда будет повод понервничать – но уже в дверях он вдруг обернулся.

– Как курсовая?

Я покачал головой.

– Пока так себе.

– Если нужна будет помощь по тексту, обращайся.

– Большое спасибо.

Он кивнул и собрался было шагнуть в коридор, но я выпалил:

– Павел Александрович!

Он посмотрел вопросительно.

– Посоветуйте – с чего начать Стругацких?

Он задумался.

– А тебе сколько лет?

Я ответил.

– Стругацких уже поздно, – сказал он. – Попробуй...

И он назвал какую-то причудливую фамилию, которую я тут же забыл.

– Хорошо.

Он махнул рукой и вышел.

Как только закрылась дверь, я хлопнул себя по лбу – и с чего меня вообще угораздило полезть с расспросами? Стругацких я читать не собирался, этого, как его, пурумбурум, – тем более. Захотелось поддержать беседу?

Я свернул курсовую, завязал пакет с крекером и сунул его в ящик, тот самый, в котором жила касса. За окном мело по-прежнему, только небо еще больше потемнело.

Когда я воевал с молнией на пуховике – она меня вечно подводила – дверь открылась, и в центр заглянул Павел Александрович. Я испугался, что он сейчас заговорит про Стругацких или про пурумбурум – а мне уже страсть как хотелось домой. Но он только напомнил:

– Будешь уходить – не забудь сдать ключ на вахту.

Это кто-то из старичков отличился вчера – забрал ключ домой. Две смены сорвались. Бабульки толпились перед закрытой дверью и возмущались.

\*\*\*

Рассказ из журнала я прочел – не закончив «Город джаза» – через пару месяцев, и вот при каких обстоятельствах.

Это был конец апреля – около того. Погода – сказка. Поле нежно зеленело, небо переливалось – голубое-голубое.

Учиться, понятно, никому не хотелось. До сессии оставался целый месяц, и студенты старались выжать все возможное из весны. На факультете возобновились дискотеки, повсюду кто-то кого-то звал в кино, кто-то кому-то дарил цветы, несколько смельчаков сыграли шумные студенческие свадьбы. Даже занятия казались не такими скучными, как обычно.

И дважды я видел, как дети бегают по полю со змеем. Змей был самодельный, невзрачный, но – как же здорово он летал!

И лектор, стоя за кафедрой, засмотрелся на змея. А потом сказал мечтательно:

– Мы тоже в детстве змеев пускали...

Он сразу понял, что ляпнул не в тему, встряхнул головой, нахмурился и продолжил читать курс.

И даже семинары были какие-то несерьезные, никого не выгоняли, не отчитывали, не грозили исключением. Как будто все договорились не мучать друг друга такой весной.

Все – да не все. Пятикурсник накаркал – и когда Марина Викторовна, сетовавшая на то, что Павел Александрович нас разбаловал, заболела – весной! болеть! – ее заменили тем самым тираном, от которого нас, казалось, отделяли полтора года.

Лекция прошла более-менее мирно, тиран был, судя по всему, в хорошем расположении духа и просто декламировал, отчаянно жестикулируя.

А вот с семинаром с самого начала не задалось.

Сперва аудитория оказалась закрыта; тиран жажнул в дверь плечом, обвел нас глазами и рявкнул:

– Староста!

Но староста куда-то пропал.

Тиран выдержал паузу и снова рявкнул:

– Староста!

Тишина.

– Ты! – и он ткнул пальцем в закадыку.

У того кровь отлила от щек.

– Я не староста, – промямлил он.

– Он не староста, – подтвердил я.

У тирана ноздри раздулись так, словно он хотел нас обоих ими всосать – по ноздре на брата.

– Ты! – он снова ткнул пальцем в закадыку. – За ключами!

Закадыка исчез.

Мы – человек двадцать – остались наедине с тираном. Мы были зажаты в небольшом «кармане», тут стояли диванчики, но сесть никто не решился. В окно заглядывало поле, по небу безмятежно плыл белый пух облаков. Тиран сперва не сводил с нас взгляда – со всех одновременно – а потом решил, что мы не заслуживаем его внимания, и уткнулся в записи.

Я увидел, как за его плечом, прижавшись к стене, крадется по коридору староста. У него глаза были как блюдца.

Все стали ему моргать и подмигивать, он понял, развернулся и, не издав ни единого звука, не отлипая от стены, удалился.

Наконец подоспел мой закадыка.

– Почему так долго?

Закадыка из белого стал пепельно-серым и только открывал рот, как рыба.

– Давай сюда ключ!

Тиран вырвал ключ из онемевших рук, отпер дверь и вошел первым, а за ним уже потекли в аудиторию все мы.

Отличники рассаживались прямо перед тираном с лицами, полными ужаса и мольбы. Я у них никогда таких лиц не видел. Они затравленно озирались, а один попытался пробраться на задние ряды, но его безжалостно вытолкали обратно.

Я как-то умудрился просочиться в самую даль, к окну, а передо мной сел наш тяжелоатлет. У него спина была как шифоньер – она отгородила от меня тирана и половину аудитории в придачу.

– Андрюха, – шепнул ему я, – ты – лучший. Ты станешь чемпионом мира.

Под рубашкой весело заиграли могучие мускулы.

На соседний стул опустился закадыка. Теперь он был каким-то зеленоватым, как водоросли.

– Ты чего это так разнервничался? – спросил я безмятежно.

Он посмотрел на меня с ненавистью и уже хотел что-то ответить, но откуда-то из-за спины-шифоньера заговорил глухо тиран.

– Я смотрел ваши работы, – тихо цедил он слова. – Марина Викторовна вас разбаловала.

Все сидели, втянув головы в плечи. Даже Андрюха, игнорируя законы природы, умудрился съежиться – и мне пришлось распластаться по столешнице, чтобы сохранить укрытие.

– Я преподавал трудовое право, – продолжал тиран, – это важный и серьезный предмет, к нему нельзя относиться легкомысленно. Сегодня на трудовое право выделяется куда меньше часов, чем следует.

Я приподнял голову – отличники усердно скрипели ручками. У всего ряда уши были красные, точно маки.

– Если бы я продолжал заниматься трудовым правом, ситуация была бы иной...

Я возблагодарил небеса за то, что он не продолжил заниматься трудовым правом.

– Но я уже несколько лет не занимаюсь трудовым правом. Я занимаюсь...

И он назвал предмет, от упоминания которого даже у абитуриентов по телу пробегает судорога.

– И я вывел эту дисциплину на высочайший уровень. Насколько я понимаю, нас с вами ждет не так много встреч, – он повысил голос, – в рамках трудового законодательства, но я постараюсь сделать все возможное, что вы хотя бы на йоту продвинулись в понимании глубинной сути этого предмета.

Я смотрел в окно. Поле лежало прямо передо мной – широкое, нежно-зеленое, трава весело вздрагивала от ветра. Я представил себе этот апрельский ветер – еще прохладный, острый, но уже напоминающий о лете.

А тиран между тем закипал.

– Зарубите себе на носу, далеко не все из вас смогут стать юристами. Юрист! – пауза. – Юрист – это особый тип! Это отдельная каста!

По небу плыли лоскутами полупрозрачные облака.

– Я уже давно не встречал группы, в которой хотя бы половина студентов была достойна переступить порог этого факультета!

Я снова приподнялся. У отличников уши горели так, что можно было испугаться – не сработает ли пожарная сигнализация. Выплыл из-за огромного Андрюхиного плеча и сам тиран – в руке он держал кружку Марины Викторовны, которая всегда стояла на столе, и даже Марина Викторовна из нее никогда ничего не пила. Он держал кружку так, будто был готов прямо сейчас разнести ее об стену – или чью-нибудь голову.

Я снова прижался к столешнице.

Но речь прервалась – что-то тоненько запищало, повисла тишина, потом прогремел голос тирана:

– Алло?!

Я бы, услышав такое «алло», упал в обморок.

Тиран с грохотом вернул кружку на стол и вышел, шарахнув дверью.

По аудитории пронесся вздох.

– Это ненормально, – сказал закадыка. – Ненормально.

И тут я сделал очень странную вещь, которой сам от себя не вполне ожидал. Я встал, распахнул окно, схватился за раму, уперся ногой в подоконник и вынырнул наружу. Все ахнули.

Меня обдало ветром – он был точно таким, каким я его представлял.

В окно я увидел изумленное лицо закадыки.

– Ты чего?

И он повертел пальцем у виска.

Я пожал плечами.

– Идет, идет, – задохнулся кто-то.

Закадыка рванулся в мою сторону и захлопнул окно.

Я ухнул на корточки и гусиным шагом стал пробираться в сторону. Миновав аудиторию, я выпрямился и вздохнул полной грудью. Потом шагнул к окну и одним глазом заглянул внутрь. Тиран снова размахивал кружкой, отличники безостановочно строчили. Зубрила оторвалась от тетради и посмотрела в мою сторону. Во взгляде читалось отчаяние. Я сделал грозное лицо и замахнулся на тирана – на большее я не был способен.

Тиран, не оборачиваясь, шагнул к окну, и я отпрыгнул. Прислонился к холодной стене факультета, посмотрел по сторонам.

Больше всего мне сейчас хотелось уйти прямо так, через поле – на вылом глаз. Но это было, конечно, слишком круто.

Вариантов было два: снова проползти мимо тирана и обогнуть факультет с северной стороны – или пробираться мимо десятка аудиторий, чтобы дойти до противоположного угла.

Я выбрал второе.

\*\*\*

За следующим окном – теория государства и права, первокурсники. Варвара Михайловна, добрейшая женщина, что-то пишет на доске. Я вразвалку проплыл мимо, сунув руки в карманы и что-то насвистывая.

Первокурсники не отрывали от меня восхищенных глаз. У последнего окна я засвистел громче.

Налетел ветер, подхватил мой свист и унес в поле.

Далее пришлось снова перейти на гусиный шаг – Павел Александрович читал авторское четвертому курсу.

Далее – широкое окно в коридор. В залитом светом закутке в позе мыслителя сидит наш староста, разглядывает туфли. Я занес было руку – постучаться, но потом решил не отвлекать.

А вот мимо следующей аудитории я только что не полз – римское право. Декан.

Пока ковылял по-крабьи, заметил, что из-под стен факультета, там, где они вырастают в асфальт, топорщатся высокие зеленые клочья травы.

Слева выкатилась машина с буквой «У» на макушке. Поравнявшись со мной, притормозила, весельчаки принялись сигналить, руками замахали. Я в это время крался мимо криминалистики.

Наверное, за каждым окном думали, что сигналият именно им.

Долго ли коротко ли, я добрался до окна центра – крайнего на этой стороне – и обнаружил, что оно, внезапно, открыто. Ну, то есть кто-то подложил учебник, чтобы оно не распахивалось настезь – но это был, конечно, пустяк. Я просунул руку, нащупал учебник и аккуратно его отодвинул.

Окно медленно отворилось, приглашая меня внутрь.

Дважды просить не пришлось – я уцепился за подоконник и втащил себя в центр.

Пахло кофе. Дверь – заперта.

У меня даже дыхание перехватило от восторга – настолько удачно складывались обстоятельства. С закрытой дверью центр больше не принадлежал факультету, теперь он был частью поля с его взлетными полосами, ангаром и кружевами облаков.

Я распахнул окно так широко, насколько мог, еще раз – на всякий случай – подергал дверную ручку, представил, как где-то за тридевять земель, за морями-океанами, на кудыкиной горе вздрагивает недоуменно дверная ручка в коридоре незнакомого мне факультета, пугая заплутавшего первокурсника – и меня захлестнуло волной горячей трескучей радости.

Я стал между столами, поправил стопку бумаг, лежащую у моего компьютера, посмотрелся в зеркало, перевернул песочную картину Павла Александровича – неслыханная дерзость! – и сверху вниз побежала тонкая струйка серебряной пыли. Песчинки громоздились друг на друга, и на картине росла сверкающая пирамида.

Я высунулся в окно и втянул ноздрями ветер, поле, весну, облака, третий курс – аж голова закружилась. Стрекотали кузнечики, щебетали птицы, издали дотягивался автомобильный гул. Солнце метало лучи в распахнутое окно, они изгибались и чертили на стене прямоугольники.

Я сел в кресло Павла Александровича, откинул голову и закрыл глаза. Но просто сидеть я не мог.

И тогда я решил прочесть тот самый рассказ, из журнала.

Я встал, взял с тумбочки номер, вернулся в кресло, устроился поудобнее. Пролистал до тридцатой страницы – в этом журнале печатали только фантастику – и стал читать.

Действие происходит в параллельном мире – или вроде того. Как если бы советский союз до сих пор существовал – и преуспел в техническом плане. До такой степени, что можно бы было людей отправлять на Марс.

Вокруг такой экспедиции – первой в истории – вся история и вращается. Главный герой, мальчуган лет пятнадцати, ждет возвращения отца – с Марса. Из-за солнечных бурь кораблю угрожает опасность, а он и так уже помят. Корабль совсем близко к земле – последний, как говорится, рывок. Идет урок физкультуры, весь класс гоняет мяч, а мальчуган мается, не знает, чем себя занять. Он садится в углу школьной площадки на траву и начинает от скуки терзать подобие телефона – какой-то дремучий карманный компьютер, у которого функций раз-два и обчелся.

В числе этих раз-два – возможность переписываться с кем попало на волнах определенных, одному компьютеру понятных частот.

Но из-за солнечных бурь вся техника – а не только космический корабль – барахлит и отказывается работать как надо.

По полю в обратную сторону прокатились мои весельчаки – с буквой «У». На песочной картине вырос целый Египет – пирамиды прятались одна за другую и продолжали строиться. Над ними нависали черные грозовые тучи.

Мальчуган с горем пополам натывается на единственного возможного собеседника – и вступает в переписку.

Сразу становится понятно, что собеседник – все дело в бурях – «отсюда». Из нашего, то есть, измерения. У нас тут, понятно, на Марс не летают, зато карманные гаджеты не в пример солидней. Ну и начинается классическая игра в угадку – читатель все понял, а персонажи ломают комедию.

Но мальчуган переписывается как-то спустя рукава – и удивляется загадочному собеседнику так же, через силу. Мыслями он с отцом. Он отвлекается, не может унять беспокойство, а то и вовсе отложит свой патефон, обхватит колени руками и смотрит в небо, не моргает.

Угадка, получается, дает сбой.

А наш тем временем продолжает всеми силами заявлять о себе – он, почитай, батьку с другой планеты не ждет, он, небось, на лекции сидит и от скуки умирает.

За тридевять земель, на кудыкиной горе по коридору простучали тяжелые шаги. Я привстал, был готов прыгнуть за свой компьютер, но шаги стали удаляться и затихли.



Тучи над пирамидами разошлись, и оказалось, что это не пирамиды, а холмы. Между холмами бежала белая дорожка, небо стало совсем ясным. По бокам, у рамки, песок еще сыпался – там нарастали горные склоны.

Рассказ заканчивался тем, что к мальчугану подбегали ликующие одноклассники и сообщали, что, дескать, вышел, вышел на орбиту! Все, значит, хорошо.

Мальчуган тут же забывал про своего корреспондента, подскакивал, не помня себя от счастья, и несся со всеми к школе. Что там параллельные миры, когда с папой все хорошо.

А последним предложением было:

«Заканчивался теплый сентябрь тысяча девятьсот семьдесят восьмого года».

Альтернативная история, значит, я и не родился еще.

И меня аж проняло. Дочитал, положил журнал на стол, сижу, молчу.

В картине весь песок ссыпался – получилась долина с холмами, спрятанная в горах. И так все правдоподобно выглядит – точно фото.

Посидел я, почесал затылок. Проняло – а чем именно, понять не могу. И такая мне в этом рассказе почудилась тоска – прямо душу наизнанку. Встал я, прошелся из угла в угол, сел на подоконник.

По небу носились черными крючками птицы. Вдали, в поле, маячили несколько фигурок – я все надеялся, что это дети, и сейчас заколышется на неразличимой отсюда нитке воздушный змей, но фигурки помаячили-помаячили и исчезли. Совсем рядом раздался стук – в соседней аудитории открыли окно.

В семьдесят восьмом здесь был аэропорт. Отсюда крылатые машины взмывали в объятия вот этого, синего, неба. Они чертили на этом небе ровные белые линии. Небо становилось похожим на альбомный лист, по которому прошлись с линейкой.

Я все думал про рассказ. Мне казалось, что я понял что-то очень важное – но не мог определить, что именно. Не покидало ощущение, будто я заглянул в глубокий колодец.

Я слез с подоконника, опустился в кресло и хотел прочесть еще что-нибудь из журнала – вдруг здесь все так прошибает? – но прозвенел звонок, сразу за ним зазвенели ключи – и в центр влетела Наташка.

Увидев меня, она взвизгнула.

– Ты как здесь оказался? – закричала она.

Я пожал плечами:

– А я и не уходил.

\*\*\*

Рассказ из журнала поселил в моей душе недоумение. Я несколько раз порывался заговорить о нем с Павлом Александровичем, уже открывал рот, но – не знал, что сказать.

Однажды – во время дежурства, когда закадыка вышел за кофе, – я не выдержал и брякнул:

– Павел Александрович, а я ваш рассказ прочел.

Он выглянул из-за монитора.

– Какой?

– Из журнала.

– И что скажешь?

– Очень интересно.

Он усмехнулся. Наверное, глупее комплимента я не мог выдумать: «очень интересно», подумать только.

Я решил исправить ситуацию, но только все усугубил. Я сказал:

– Мне очень понравилось.

– Здорово, – ответил равнодушно Павел Александрович.

Я замолчал – и молчал до возвращения закадыки.

Весна заканчивалась, стояла жара, факультет был окутан дурманящим облаком – поле цвело и дышало.

На горизонте возвышалась грозным обелиском сессия.

Когда обелиск бросил на нас свою черную тень, мы перестали дежурить в центре – центр правовой помощи закрывался на лето. А ведь я мог похвастаться кое-какими успехами: ко мне зачастило некое ООО, которое хлебом не корми – дай поменять адрес, наименование, размер уставного капитала и так далее. Я набрался практики – и вскоре все эти бесконечные изменения щелкал как орехи. Закадыка даже стал завидовать.

Время от времени мне приплачивали – и я все по-честному складывал в кассу.

Но сессия несла на факультет хаос – спокойному, понятному ритму студенческой жизни наступал конец.

Теперь в центр мы заходили опрокинуть чашку-другую кофе, отдышаться и пожаловаться. Теперь это был центр психологической поддержки – не очень эффективной, надо сказать. Старички уверяли, что дальше будет только хуже, а новички, которых Павел Александрович привел пару месяцев назад, молчали и только строчили в тетрадах трясущимися руками.

Даже поле утонуло в тени обелиска – и я уже не видел ни детей, пускающих змея, ни экзальтированных машин с треугольниками на крыше, а о передвижном трапе и говорить нечего.

Но я легко отделался – закрылся четверками. Это был отличный результат.

После заключительного экзамена – какого-то пустяка – вся наша группа до ночи гудела в местном кабаке. Изю всех окон кабака было видно факультет. Казалось, он за нами наблюдает.

Еще и окна были – круглые, точно иллюминаторы.

Выходили с закадыкой на улицу – подышать. Уселись на бордюры, закадыка и говорит:

– Два года осталось.

– Ага.

– Бросать уже поздно.

Мне это показалось очень смешным, я рассмеялся. Закадыка – тоже.

– Ты – мой друг, – сказал он.

– А ты – мой закадыка.

– Кто?

– Закадыка.

– Нет такого слова.

Я фыркнул.

– Ага, как же. А «закадычный»?

Он почесал подбородок.

– Закадычный – есть.

– И закадыка есть.

Он пожал плечами, у него глаза были в кучу.

– Закадычный – это который за кадыком?

– Ага.

Я сам был хорош, все вокруг плавно качалось, как на волнах.

Посидели молча.

– А я ведь хотел на иностранный идти, – сказал закадыка.

Я не сдержался и прыснул.

– Ну тебя, – закадыка, охая, встал. – Пойдем.

Я уцепился за его руку и поднялся.

В конце улицы таял в сумерках факультет. Несколько окон на втором этаже горели.

Мы помахали факультету рукой и скрылись в кабаке.

Я все лелеял надежду погулять в центре – но Павел Александрович, приняв последние экзамены, укатил к себе, в Казахстан. А без него – понятно – никто собираться не хотел.

Павел Александрович звонил нам из поезда и давал распоряжения – у кого остаются ключи, что надо отнести в деканат, и всякое такое. Я попросил у Наташки трубку и сказал:

– Павел Александрович.

– Да?

– Можно взять «Город джаза» на лето?

– А он в центре?

– Да.

– А бери.

– Спасибо.

Так сборник фантастических рассказов «Город джаза», который я все никак не мог дочитать, оказался у меня.

Но взялся я за него только в августе – и как взялся!

В августе родители – вопреки всем моим грандиозным планам – поволокли меня в Турцию. Я даже поскандалил немного, мне эта Турция даром не нужна была.

Уже и сумки собрали, уже сели на дорожку – и в самых дверях я хлопнул себя по лбу. Не разуваясь, добежал до своей комнаты, выудил книгу из шкафа, сунул в рюкзак.

И «Город джаза» полетел со мною в Турцию. В ручной клади.

Вылетали с нового аэропорта – в нескольких километрах от города. Аэропорт был аскетичный, компактный, персонал – сонный и доброжелательный.

Когда взлетали, у меня жутко заложило уши. Стюардесса разносила по салону леденцы, я набил ими рот – без толку.

Набрали высоту, и я смог разглядеть в центре города наше поле – и даже белую козьявку факультета. На поле со всех сторон наступали дома, а оно было такое ровненькое, овальное, беззащитное.

Когда уши прошли, меня сморило.

\*\*\*

В первый же день я обгорел – красный как рак, к плечам не притронуться. Всю следующую неделю я мог выходить к морю либо ранним утром, либо поздним вечером. Днем я шатался по отелю, просиживал штаны в лобби и спал в номере.

Номер у нас был отличный – целая квартира.

Вставать рано я не любил. С трудом вытаскивал себя из постели к концу завтрака. Брел до ресторана, сгребал все, до чего мог дотянуться – из того, что осталось – долго клевал носом над тарелкой.

И я повсюду носил с собой «Город джаза» – хотя читал очень медленно.

По ресторану летали, как оголтелые, воробьи. А я и не знал, что они тут водятся. Стоило отвернуться от столика, его тут же атаковал целый отряд. Тащили с тарелок, внаглую. Никто на них и внимания не обращал. Даже весело.

А лобби – прямо над рестораном, вроде широкого такого балкона. Ну, и там тоже воробьи.

Я в лобби примелькался, стал своим. Приду – все со мной здороваются.

Я даже закладку из книги убрал, чтоб никто не видел, как медленно я читаю – пришлось номера страниц запоминать.

А вечером – вот уж, правда, красота. Море теплое, солнце мягкое. Хочешь – купайся, хочешь – сиди на берегу, хочешь – пьянствуй в баре, если родителей рядом нет.

Я в Турции уже был однажды – лет в тринадцать. Но тогда мне, понятно, бары были мимо кассы. А тут я просто ошалел – при первой возможности старался влить в себя все, что только видел. Сам удивлялся.

Так что вечером, искупавшись, я принимался строить из себя романтика – брал какое-нибудь пойло, садился за столик, выкладывал перед собой «Город джаза» и с задумчивым видом смотрел вдаль.

Закаты были сказочные. Я у нас таких закатов не видел.

В установленное время я нетвердой походкой шел в ресторан, находил родителей, и мы ужинали. Я старался меньше говорить, сидел с прямой спиной, смотрел загадочно – и, кажется, они ничего не замечали. После ужина родители шли на какое-нибудь представление, а для меня это – скука смертная, вроде адвокатуры. Я один раз только поддался и сел со всеми смотреть народные танцы. Вытерпел двадцать минут, извинился и сбежал.

Темнело красиво, но очень уж быстро. Ночи были душные, бархатные. Я слонялся от бара к бару, сидел на пляже и время от времени навевался на дискотеку.

Дискотека была обычная, не хуже и не лучше любой другой. Проводилась в каком-то подвале, прямо в отеле. Светомузыка, грохот – все как надо. Я приходил, брал себе выпить и с важным видом восседал за барной стойкой.

И всех интересовал «Город джаза». Турки, наверное, думали, что я какой-нибудь кандидат наук – очков не хватает. И при первой возможности спрашивали на ломаном русском:

– Че за книга?

Или по-английски:

– What is it?

– Stories, – отвечал я. – Рассказы.

И просил еще пива.

Турки одобрительно кивали. А тот, что стоял за баром на дискотеке, полез с вопросом:

– Достоевский?

– No.

– Чехов?

– No.

– Тургенев?

– No.

И я назвал фамилию Павла Александровича. Турок пожал плечами.

– Моя мама, – сказал он, – очень любит русскую литературу.

Я почувствовал себя частью великой культуры, попросил передать низкий поклон его маме и попросил еще пива.

В номер я пробирался далеко за полночь, просачивался к себе, но еще долго не мог уснуть – сидел на балконе и цедил ледяную газировку из мини-бара. Звездная турецкая ночь кружилась перед глазами, все плыло, море сливалось с небом, я всякий раз проклинал свою неумеренность и зарекался пить. С балкона открывался чудесный вид, было видно противоположный берег залива, оттуда моргали огнями отели – такие же, как наш.

Почти каждую ночь на той стороне устраивали иллюминацию – и в ночное небо тянулись тонкие разноцветные лучи.

Когда звездная турецкая ночь замедляла свое вращение, я брал «Город джаза», читал пару страниц и шел спать.

Рассказы были неплохие, даже увлекательные, но – было ли тому виной мое злоупотребление спиртным или же так действовала теплая безмятежная обстановка – ни одна из историй не могла впечатлить меня так, как это удалось сделать прочитанной в журнале. Время от времени в рассказе мелькало что-то знакомое, и мне снова казалось, что я заглядываю в глубокий колодец, – но оно тут же расплывалось и исчезало. Я возвращался, перечитывал абзац – ничего.

А за пару дней до отъезда произошло удивительное событие.

Я сидел в лобби, потягивал чай из махонькой стеклянной чашечки и читал – настолько медленно, насколько мог. Я брел взглядом по строке так, как бредут студенты к первой паре, добредал до ее обрыва и, охая, переползал на следующую. Со стороны могло показаться, что я сплю с открытыми глазами. Я и впрямь почти спал – потому что вернулся в номер перед самым рассветом.

Вдобавок ко всему в лобби мурлыкала тихая однообразная мелодия – кого хочешь в сон клонить начнет.

Даже воробьи перелетали с места на место лениво, с неохотой. Один приземлился на спинку кресла, придвинутого к тому же столику, за которым сидел и я.

Воробей приземлился, повертел головой, уставился на меня. Воробей был маленький и какой-то приплюснутый с боков; они тут все тощие – от жары, наверное.

Мы с воробьем стали играть в гляделки. Он смотрел на меня, я – на него. Никто не хотел уступать.

У меня глаза заслезились так долго не моргать. Меня спас старик, который битых полчаса косился на меня из-за соседнего столика. Он тоже пил чай, и пока я читал, он раз двадцать ко мне поворачивался.

Теперь, когда я уже был готов пихнуть ногой кресло, на котором сидел воробей – чтобы победа досталась мне – старик меня окликнул, и я получил возможность выйти из игры без репутационных потерь.

– Простите, молодой человек, – сказал старик.

Я посмотрел на него. Невысокий, в голубой рубашечке, бриджах и панаме. Аккуратная белая борода, добродушная улыбка.

– Простите, что отвлекаю, – сказал он, растягивая слова. – Можно взглянуть на вашу книгу?

«Город джаза» снова был в центре внимания. Я пожал плечами и протянул его старику.

Старик вынул из нагрудного кармана очки, водрузил их на переносицу и поднес книгу к глазам.

Его лицо расплылось в улыбке.

– Надо же!

Он посмотрел на меня.

– Это же...

И он назвал фамилию Павла Александровича.

– Я не знал, что его рассказы можно купить.

Я встряхнул головой, пытаюсь понять, что происходит.

– Я читал его рассказ, – он назвал тот самый журнал. – И был очень впечатлен.

Я полагал, что литературные журналы чуть более популярны журналов юридических, и уж никак не ожидал встретить еще одного кого-нибудь из читавших тот номер – кроме разве что самого Павла Александровича.

Да еще в этих краях!

Поэтому – и из-за моего состояния – я въезжал в беседу со скрипом. Старик, наверное, решил, что я туговат.

– Ээээ... – промычал я.

Я совсем не знал, что говорить в таких случаях. А старик смотрел на меня, улыбался и как будто ждал ответа.

Я потер лицо ладонью и нашелся:

– Да, рассказ отличный.

Старик штудировал оглавление.

– Только здесь его нет, – протянул он озадаченно.

– Нет, – подтвердил я.

Старик закрыл книгу и еще раз всмотрелся в обложку.

– Город джаза. Какое красивое название.

– Красивое.

Он снова стал листать.

– По приезде обязательно приобрету.

Тут-то я спохватился:

– Нет-нет, ее нельзя купить.

Старик сделал удивленное лицо.

– Ну, то есть... – я собрался с мыслями. – Это наш преподаватель, мы ему ее как бы подарили. Напечатали тираж.

Белые стариковские брови взлетели на середину лба.

– Вот как?

Я пожал плечами.

– Это же просто восхитительно!

Я даже вздрогнул – так громко он воскликнул.

– Преподаватель! А где вы учитесь?

Я ответил.

Старик всплеснул руками.

– Юридический факультет! Стало быть... Стало быть, сей замечательный автор – юрист?

– Юрист.

Старик снова открыл книгу и листал ее, качая головой.

– Чудеса, – бормотал он себе под нос. – Самые настоящие чудеса.

Он посмотрел на меня.

– Знаете, – сказал он, – а ведь его рассказ – лучшее, что я читал в этом журнале за последние лет, наверное, пять.

Так вот кто читает эти журналы.

– Ничего себе, – крикнул я.

– Да-да, – старик вздохнул и поерзал на стуле.

Так ерзают перед тем, как завести речь. И я не ошибся. Старик заговорил, растягивая слова и выдерживая театральные паузы:

– Да-да. Я очень люблю этот журнал. Жанр, – он постучал пальцем по обложке, – сегодня не в почете, переживает трудные времена. Но издание – достойное, ратуют за идею, держат, если хотите, какие-никакие принципы, и стараются публиковать действительно серьезные вещи. И ваш... кхм... преподаватель... – он снова всплеснул руками – подумать только – преподаватель на юридическом факультете... Что вы, это же настоящее открытие! Я даже в редакцию писал – отзыв, благодарность.

Я благодарно кивал – как будто хвалили меня.

– И тут такая встреча. И где! В этом, – он обвел рукой лобби, – уголке. Я искал книги вашего преподавателя в магазинах, но о нем никто не знает – и тут такая встреча. Удивительно, просто удивительно.

Он говорил с воодушевлением и даже торжественно, и смотрел при этом мне за спину.

– Его рассказ... Это же просто шедевр! Без преувеличения – шедевр! Маленький, но шедевр! Чувствуется... такая искра, такое пламя.

Он вдруг понизил голос и посмотрел на меня.

– Поверьте мне, юноша. Поверьте. Я знаю, о чем говорю. Это... Вы, наверное, даже не понимаете, что это... Это...

И он потряс руками.

Потом он вздохнул и откинулся в кресле.

По лобби плыла волна за волной тихая музыка, от ресторана тянулись запахи еды, перепрыгивали со столика на столик воробьи. Турок за стойкой, казалось, дремал.

Старик долго молчал, положив книгу себе на грудь и сцепив над ней пальцы. Молчал и смотрел куда-то вверх. Потом встряхнул головой, перевел взгляд на меня, прищурился и прошептал доверительно:

– А ведь я был знаком с самим Воннегутом.

Я знать не знал, кто такой этот Воннегут.

– Однажды я даже был у него в гостях.

Я сделал удивленное лицо.

– Да-да.

Он кивнул – да, дескать, вот так – и замолчал. И молчал долго, я чуть не уснул.

– Понимаете, – сказал он, наконец, – фантастика – это нечто куда большее, чем просто... – он пренебрежительно взмахнул рукой, – фантазии.

Я кивнул.

– И больно смотреть на то, во что фантастика превращается сегодня.

Я снова кивнул. Хотя боли, признаться, не испытывал.

– Даже не превращается. Превратилась, – он горестно вздохнул, но тут же оживился и засиял улыбкой. – Я не только Воннегута знал, нет-нет. Я много с кем имел общение. С Лемом, например. И с Игорем Можейко.

Я только руками развел.

– Да-да, – заверил он и вернулся к серьезному тону. – Так вот. В каждом жанре есть тексты, оправдывающие... существование этого жанра. Сердцевина, если хотите. Ядро.

Он сделал движение руками, как будто ловил баскетбольный мяч.

– Фантастика призвана... Фантастике дано... – он никак не мог подобрать нужное слово и защелкал пальцами. – Фантастика может дать читателю так много! Вы читали Беляева?

– Нет.

– Обязательно почитайте!

– Хорошо.

– Запишите, а то забудете.

– Спасибо, я запомню.

– Нет-нет, забудете.

Он схватил со столика салфетку и окликнул дремлющего турка.

Турок встрепенулся и подскочил к нам.

– Извините, – сказал старик, – нельзя ли попросить у вас ручку?

Турок ушел, вернулся и протянул старику ручку.

– Премного благодарен.

Турок зевнул и спрятался за стойку.

Старик развернул салфетку и принялся писать.

– Возьмите. Надеюсь, почерк разборчивый.

На салфетке значились три фамилии. В одной я угадал Беляева, две других разобрать было невозможно – почерк был ужаснейший.

Я кивнул и спрятал салфетку в карман.

– Обязательно прочтите этих авторов, – сказал старик. – Перед вами откроется целый мир.

– Хорошо.

Немного помолчали. Старик снова стал листать книгу.

– Да-да, – бормотал он, – очень интересно, очень.

Он поднял глаза.

– Это большая тайна, – сказал он, понизив голос,

И замолчал. Он молчал и смотрел на меня. Мне даже как-то неуютно стало. Он молчал, молчал, а потом повторил:

– Это большая тайна. Тайна искусства. Разные люди. В разных местах. В разных эпохах, – он делал между предложениями многозначительные паузы. – Вдруг говорят об одном и том же.

Следующая пауза показалась мне вечностью. Старик разволновался, был перевозбужден, и меня тяготил наш разговор.

От окон на пол ложились широкие диагональные полосы света.

– Знаете ли вы, что я услышал в рассказе вашего друга?

Друга. Он назвал Павла Александровича моим другом. Я с трудом сдержал улыбку.

– Что?

Он задрал подбородок.

– Голос поколения.

Пауза.

– А может быть, и не одного.

Он вдруг засуетился.

– Мне просто необходимо написать вашему другу. Дайте, пожалуйста, его адрес.

Я растерялся.

– У меня нет его адреса.

Старик посмотрел с горечью.

– Тогда дайте свой. Я пришлю письмо вам, а вы передадите его по назначению.

Я замялся.

– Давайте я вам продиктую адрес факультета Павлу Александровичу обязательно передадут.

– Прекрасная идея! – воскликнул старик вместо того, чтобы обидеться.

Он схватил еще одну салфетку, и я назвал ему адрес, который сотни раз указывал при заполнении писем от центра правовой помощи.

– Замечательно! – с его лица не сходила улыбка.

Я привстал и потянулся за книгой.

– Извините, мне надо идти.

Старик сперва растерянно кивнул, а потом сделал умоляющее лицо.

– Еще одна просьба! – воскликнул он. – Оставьте мне книгу до завтра. Завтра утром мы улетаем, я вам ее верну.

И вот тут я не сомневался ни секунды. Я знал, что Павел Александрович одобрит мое решение.

– Да, конечно, – сказал я. – Во сколько вы уезжаете?

Старик просиял.

– В семь.

Я представил, что мне надо будет встать в такую рань, и у меня все внутренности скрутило.

– В семь... – повторил я вслух.

Я оглянулся по сторонам.

– Оставьте на стойке, пожалуйста, – и я показал на дремлющего турка. – Мне ранние подъемы даются тяжело.

Старик хлопнул в ладоши.

– Отлично! Так и сделаем!

И он прямо-таки выпорхнул из кресла.

– Позвольте откланяться, не терпится приступить, – он постучал пальцем по обложке. – А ведь еще и искупаться надо сегодня. Напоследок.

И он рассмеялся.

Я кивал на каждую его реплику, а потом с трудом встал, и мы обменялись рукопожатиями.

– Удивительная встреча! – причитал он, трясая мою руку. – Просто удивительная.

– Да.

– Просто удивительная.

Он отпустил меня, кивнул и засеменил к лестнице.

Я потер лицо ладонями, взъерошил волосы и отправился за чаем. Солнце уже не пекло, можно было собираться на пляж.

\*\*\*

А утром произошло вот что.

После завтрака я, еле передвигая ноги, добрался до лобби. Турок за стойкой увидел меня издали, просиял, подскочил и замахал так, словно мы с ним лучшие друзья. А когда я подошел, протянул мне письмо. Обыкновенный белый лист, сложенный вдвое и с обеих сторон исписанный знакомыми мне каракулями. Книжки не было.

Ушлый старик заграбастал себе «Город джаза»!



У меня даже дыхание перехватило от возмущения. Я попытался разобрать хоть что-то из написанного, не отходя от стойки, а турок все это время смотрел на меня и чему-то очень радовался. С большими усилиями я смог прочесть приветствие. «Доброе утро!» – писал старик.

Голова тихо и равномерно гудела, неделя ночных приключений что-то сбила в настройках моего мировосприятия, и я на все смотрел как будто сквозь толстое мутное стекло.

Турок предложил чаю. Я кивнул, подождал, пока он поставит передо мной стеклянную чашечку и, обжигая пальцы, транспортировал себя к ближайшему столику.

В лобби все было как всегда – текла ручейком спокойная музыка, скользили по стенам полосы золотого света. Сновали туда-сюда воробьи.

Я опустил в кресло, выставил на середину столика огнедышащую чашечку и устался на караули.

Один Бог знает, каких трудов мне стоило расшифровать послание старика. Я выпил пять чашек чаю, дважды выходил подышать, но прочел-таки почти все. Графологическая экспертиза признала бы в старике инопланетянина, не меньше.

Старик рассыпался в извинениях, но, однако, писал, что «не мог, просто не мог поступить иначе, никоим образом не мог». Писал, что такие встречи «удивительны и невообразимы и случаются раз в столетие» и что он «не смог бы себе простить возврат книги недочитанной». А он прочел только половину, а еще половина осталась, и в этой половине еще, наверняка, сокрыто много тайн и открытий, хотя, казалось бы, ну куда уж больше – потому что и первая половина представляет из себя нечто «первоклассное». Он так и написал – «первоклассное». «Сквозь все тексты, – писал он, – тянутся тонкие серебряные нити – те самые, которые после сходятся и переплетаются в рассказе из журнала. Распутывать эти нити для человека, знающего толк в фантастике, – сущее наслаждение. Это линии жизни, по которым я, опытный хиромант, разгадываю будущее жанра...» И далее – все в таком духе, у меня даже в глазах зарябило. Через каждые два предложения старик принимался извиняться и писал, что «автор – поймет, непременно, всенепременно поймет; и не осудит». В конце концов, я успокоился, потому что хоть и был зол на хитрого старикашку, знал, что Павла Александровича такое развитие событий не только не расстроит, но, быть может, и повеселит.

В конце письма говорилось, что книга «будет отправлена по адресу факультета вкупе с самой наиподробнеешей рецензией и письмом, адресованном дорогому автору». Я представил себе наиподробнеешую рецензию, написанную таким почерком, и мне стало дурно.

Делать было нечего. Я попросил у турка ручку, нарисовал на полях письма несколько самолетиков, допил чай и пошел в номер – спать. Спина и плечи были в какой-то бахrome – слезала белой пленкой обгоревшая кожа. Перед тем как завалиться в кровать, я почти полчаса сидел перед зеркалом и, извернувшись, ее отколупывал. А когда, наконец, улегся, то долго не мог уснуть, ворочался, кутался в одеяло. В конце концов плюнул – встал и пошел слоняться по отелю.

Мы улетали следующим вечером, и оставшиеся полтора дня я ходил как голый – до того мне не хватало «Города джаза». Меня даже узнавать, кажется, перестали – и уж точно смотрели не так уважительно, как раньше. Дважды или трижды я, не глядя, шарил ладонью по столу в поисках книги. А ночью, когда я притащился на дискотеку и уселся перед барменом, чья мать любит русскую литературу, он посмотрел на меня так, словно у меня вместо носа хобот – или что-то в этом роде.

О, та ночь заслуживает отдельного разговора.

Бармен молча смотрел на хобот, пока я пил первый бокал, а потом спросил:

– Где твоя книга?

Он прекрасно говорил по-русски, но обязательно выбирал одно или два слова в предложении и коверкал их.

Я развел руками.

– Потерял?

– No.

– Дочитал и оставил в номере?

– No.

Я влил в себя еще порцию, и меня понесло. Я осадил бармена и принялся рассказывать ему про хитрого старика, про Павла Александровича, про факультет и про то, что на пятом курсе нас ждет тиран, которого хлебом не корми – дай отчислить дюжину-другую студентов.

Бармен внимательно меня слушал, кивал и время от времени пытался хвастануть тем, что у его матери дома целая библиотека русской литературы. На этих словах я лез к нему через стойку с объятиями.

А потом у меня в голове что-то щелкнуло, и я – впервые за все эти дни – решил присоединиться к танцующим.

Что это было! О, это было нечто! Я почти ничего не помню, но это было нечто. Я даже вспомнил, что когда-то, в младших классах, занимался русскими народными танцами – и... Нет, этого нельзя описать, это надо видеть!

И конечно, в танце, когда душа нараспашку, я в какой-то момент почувствовал себя влюбленным. Объектом романтических переживаний стала темноволосая барышня в платье с красными маками. Меня эти маки прямо поразили – такие они были пестрые. Я плясал так, что сердце растаяло бы даже у айсберга – не то что у барышни с красными маками – я клял современные дискотеки за дефицит медленных композиций, и когда заиграло что-то маломальски спокойное, я тут же бросился к ней с мольбой о танце.

Она была с подружками – они постоянно хихикали, толпились вокруг столика и тянули разноцветные коктейли. Барышня с маками сперва замялась, но потом прочла в моем взгляде самурайскую решимость и протянула руку, увешанную браслетами. Подружки захихикали громче и стали подпихивать ее в спину.

Что это был за танец! У меня все плыло перед глазами, все эти прожектора и огни, я косился на красный мак на ее плече, а каштановые кудри щекотали мне щеку – и пахло от них просто ошеломительно, какими-то цветочными духами. Я вспомнил, что как-то так пахнет наше поле, за факультетом, весной – и уже было открыл рот, чтобы поделиться открытием, но вовремя одумался.

Оказалось, что она ни слова не понимает по-русски, а сама – представьте себе – из Израиля. И английский у нее был не то чтобы образцовый – я выражал свои мысли куда свободней, хотя был в стельку пьян.

Ума не приложу как – но мне удалось заинтересовать ее своими рассказами про Россию, хотя я, насколько помню, нес какую-то сплошную ахинею и то и дело вспоминал то Павла Александровича, то хитрого старика. Не удивлюсь, если в итоге она решила, что я работаю в аэропорту – или что-то такое.

Когда танец закончился и клуб снова загремел отвратительным и бесконечным «бум-бум», я буквально за руку оттащил барышню с маками к стойке и попросил у моего друга-турка «два самых романтичных коктейля». Потом были еще два, потом я взял себе еще что-то – а она еще и половину второго не осилила – и я понял, что превзошел сам себя этой ночью, что я их, наверное, обанкротил в плане выпивки.

Барышня с маками сперва была весела и говорлива – и беседа пошла как по маслу – но потом она стала вдруг как-то в один момент жутко рассеянной, отвечала невпопад и явно скучала. То и дело она вертела головой и искала подруг, но подруги, к счастью, разбежались кто куда. Я понял, что еще немного – и она оставит меня куковать в одиночестве. Поэтому я наплел ей что-то про звездное небо и упросил выйти на воздух.

На воздухе мне стало лучше, горизонт заваливался градусов на десять, не больше. Барышня с маками и сама приободрилась – даже сказала, что покинуть клуб было отличной идеей. И что можно прогуляться немного, а после она пойдет спать, потому что уже поздно и все подружки разошлись, а утром они едут на экскурсию на какой-то базар.

Мы прошли мимо бассейнов. За ними, перед самым пляжем, между толстыми стволами пальм были натянуты гамаки. Ночь и вправду выдалась звездной, но звезды казались мелкими и тусклыми. Над морем лениво катился кружок луны. Барышня с маками присела на

один гамак – в самый его центр, давая понять, что места хватит только для одного, – я грациозно повалился на соседний.

Густой теплый ветер шевелил пальмовые листья над моей головой, я что-то рассказывал про факультет и при этом старался сохранять неподвижность – как только гамак начинал качаться, меня мутило.

Барышня рассказала о себе, о том, какие книги любит, на кого учится – и все в этом роде. Больше всего меня поразила новость о том, что после университета ее ждет срочная служба в израильской армии.

Я поудивлялся, а потом вернулся к рассказам о России – и стал выпытывать, кто из русских писателей ее особенно впечатляет. Она подумала и назвала Чехова – а я у Чехова читал три-четыре рассказа в школьной программе. Потом она завела речь о своих подругах – о том, что они с самого детства вместе, но у одной из них – с невыговариваемым именем – жених из США, и ей скоро придется уехать, и они из-за этого чуть не рыдают днями напролет – и так далее и тому подобное.

А потом она совсем заскучала, и беседа иссякла. Я к тому времени мечтал сползти с гамака и распластаться на твердой земле – потому что гамак все норовил качать меня, как дитя в люльке, – но не представлял, как это провернуть, не опростоволосившись. Пальмы перед глазами кружились и танцевали. Я отвечал односложно и думал только о том, чтобы не потерять равновесие. Чтобы хоть как-то урезонить гамак, я свесил одну ногу вниз и с такой силой уперся пяткой в газон, словно от этого зависела моя жизнь.

Наконец – восхитительный миг! – барышня в маках встала и, теребя браслеты на запястье, сообщила, что ей пора.

Я изобразил на лице огорчение, медленно кивнул и поблагодарил ее за чудесный вечер.

Она сказала, что впервые общалась с русским человеком так близко, и теперь мнение о России у нее самое положительное. Потом она помахала рукой, улыбнулась дружелюбно и упорхнула.

Как только она скрылась из виду, я вложил всю свою решимость в пятку, упирающуюся в газон, ухватился за край гамака и вывалил себя из него. Мне было очень дурно, во рту пересохло, ноги не слушались. К великому счастью, совсем неподалеку, в нескольких метрах, качался, как на палубе корабля, ближайший лежак – вместе с ним качался пляж. Я, готовый в любой момент завалиться навзничь, добрал до него и улегся на бок, поджав под себя ноги.

Минут, наверное, сорок я лежал неподвижно, с открытыми глазами – едва я их закрывал, мне становилось не по себе. Я лежал и смотрел на качающийся пляж. Кромку пляжа лизало море, и было непонятно, как это оно не выливается совсем при такой амплитуде, за пляжем был пирс, за ним еще пляж, за ним еще пирс – и так далее, пока берег не начинал закругляться и уплывать вбок, а там горели разноцветными огнями отели, и от них летело эхо музыки.

Я стал вслушиваться, пытаюсь разобрать мелодию, все мое внимание сосредоточилось на этом занятии, мне стало легче, потом еще легче, потом еще, а потом я уснул.

И вот что мне приснилось.

Мне приснилось, что я прохожу по темному узкому коридору, заставленному мебелью, толкаю дверь и оказываюсь на крыльце. Я совсем еще ребенок, не старше пяти или шести лет. Я берусь за перильце и спускаюсь с крыльца. Пересекаю площадку перед домом и подбираюсь к калитке. Забор тянется частоколом в обе стороны. Я откидываю крючок, и калитка открывается. Передо мной расстилается невообразимо широкое поле, ему не видно конца, конец ему – ниточка горизонта, но и она так далеко, что глазам больно. Ни деревца, ни кустика – голое поле, покрытое сухой травой. А над полем...

Над полем раскинулось небо – оно еще огромней, еще шире, еще невообразимей.

И оно буквально кишит летальными аппаратами – всех видов и величин. Медленно тянутся хвостами вперед гигантские лайнеры, плывут, вращаясь, спутники и орбитальные станции, дирижабли и воздушные шары – и странные конструкции, похожие на выгнутые металлические решетки. Все залито холодным светом, мерцают серебряные бока и изгибы. Аппаратов так много, что не видно ни звезд, ни луны, одни аппараты выше, другие ниже, они

двигаются беспрестанно и медленно – и совершенно беззвучно. И они не сталкиваются друг с другом, повинаясь какому-то сложнейшему сплетению линий и траекторий. Я стою, запрокинув голову и распахнув глаза, а они все плывут надо мной и сверкают в свете луны, которой не видно.

Налетает ветер, треплет на мне рубашку, выворачивает калитку так, что она со стуком бьется о забор, прижимает к земле сухую траву – но наверху все по-прежнему движется медленно и беззвучно.

Я проснулся на рассвете – от холода. Море тихо шелестело прибоем. По дорожке вдоль пляжа шел турок в униформе и длинной палкой тормозил аккуратно подстриженные кустики.

Меня потряхивало, зубы стучали. Я кое-как встал и заковылял к отелю. Когда я поравнялся с турком, он поздоровался и спросил по-английски:

– Where is your book?

Я развел руками.

Я его впервые видел.

После обеда мы покинули отель, а вечером я спал, уткнувшись бровью в ледяное ребро иллюминатора.

\*\*\*

А с сентября в центр повалило столько клиентов, что мы за голову схватились – и это при том, что значительная часть старичков благополучно защитила дипломы и упорхнула. Павел Александрович выбил нам еще часы в расписании, и теперь мы были самые заправские на факультете юристы – ходили по судам, знали наизусть телефоны антимонопольной службы, и налоговой, панибратствовали с нотариусами и так далее.

Павел Александрович за лето привел в порядок свои записи и издал сборник статей по авторскому праву. Казалось, что авторское право – какой-то мистический предмет, о котором можно было писать вечно. Зубрила в этот сборник вцепилась как клещ – только что домой не уволокла.

А как я объяснял пропажу «Города джаза» – вот умора была. У меня не хватило ума выпепить Павла Александровича тет-а-тет, где-нибудь в коридоре или у буфета – вот он и спросил меня при закадыке и Наташке:

– Ну а что же сборник? Прочел? Тут его замдекана просит.

Я залепетал что-то, прерываясь на хихиканье, но пришлось взять себя в руки и выложить все как есть. Только письма у меня при себе не было – и я не мог предъявить никаких доказательств. Когда вышли с закадыкой в столовую, он ткнул меня в бок и спросил ехидно:

– Посеял, да?

– Да, – сказал я ему. – Посеял. Скоро пожну.

– Геро-ой, – протянул закадыка и фыркнул.

Но на следующий день я принес в центр письмо – и торжественно прочел вслух перед всеми. Окончив, я раскланялся, и Наташка заплотировала.

А потом спросила:

– Долго сочинял?

Но Павел Александрович, кажется, поверил.

Из «Города джаза» я – по вине старика – не успел дочитать всего один рассказ. Про фотографа, который ходит на озеро и зачем-то его постоянно фотографирует; а зачем – сказать не может. Тянет его, мол, влечет.

Я прочел буквально полторы страницы – и старик этот.

Поле за окном желтело и высыхало, в конце сентября зарядили дожди, и всеобщие надежды на бабье лето покатались под откос. На том краю поля за лето вырос дом этажей в девять, он теперь все время смотрел на факультет, как будто думал о чем-то. Его было видно из всех аудиторий, выходивших на поле, рядом с ним крутился на одной ноге подъемный кран, и в открытое окно центра время от времени долетало эхо стройки.

На Павла Александровича свалилось много работы – ему добавили предмет, он стал совсем нервный, осунулся, круги под глазами потемнели. Теперь он часто оставался в центре позже всех и уходил последним – неизвестно во сколько.

Однажды мы с закадыкой катались по полю на отцовском «опеле» – кажется, в середине октября. Было уже темно, вечер – а в центре свет горит. Только не видно, кто там – жалюзи мешают.

Мы оставили машину у ангара, подкрались к окну, но сколько ни пытались – ничего не увидели.

А в ноябре Павел Александрович зашел в центр в наше дежурство – мы строчили письмо в управление потребительского рынка – оглядел центр, словно выискивая кого-то, остановился взглядом на нас – кроме нас и не было никого – посмотрел с прищуром и сказал:

– В Москву поедете?

Мы ахнули.

– Форум по арбитражу, – пояснил Павел Александрович. – Посидите с умным лицом.

– Вдвоем?

– Смешная шутка. Со мной, конечно.

Мы, разумеется, согласились. Это была большая честь. Зубрила чуть с ума не сошла от зависти.

Наташка сказала:

– Не обольщайтесь.

Мы и не обольщались. Мы экипировались солидного вида портфелями, встретились с Павлом Александровичем без четверти полночь, а без пяти – влезли в купе, оплаченное факультетом. В моем портфеле кроме бумаг и блокнота лежала пара запасных носков, а у закадыки портфель был объемней, и туда мы сгрузили две бутылки пива.

Кроме нас в купе ехал какой-то взъерошенный парень. Он зашел последним, поздоровался и юркнул на верхнюю полку.

Мы уселись за столик: я и закадыка по одну сторону, Павел Александрович – по другую.

Уселись и стали смотреть в окно. Перрон был покрыт тонким слоем инея и серебрился в свете фонарей. Прямо под нашим окном ежилась и притоптывала на месте проводница. Мимо пронесся, придерживая прыгающие на переносице очки, долговязый мужик в ушанке.

Небо было черное, силуэты домов были черные, деревья за путями были черные – все вокруг было черным, кроме серебряного перрона и нашего купе – теплого, светлого и пахнущего поездом.

Наконец, купе качнулось и поплыло влево.

– В прошлом году в это время уже снег сыпал, – сказал закадыка задумчиво.

– Ага, – подтвердил я.

Павел Александрович сидел, положив локти на стол, смотрел в окно и, по-видимому, не собирался поддерживать разговор о погоде. На нас с закадыкой молчание действовало угнетающе.

– Что ж, Павел Александрович, – спросил я, – что-то новое публиковали?

– Нет.

– А писали?

Он зевнул, прикрыв рот кулаком.

– Писал.

– А я прочел ваш рассказ, из журнала, – подхватил тему закадыка.

Прочел – года не прошло.

– И что скажешь?

Закадыка сделал восхищенное лицо и затряс головой.

Зашла проводница. Взъерошенный парень сел, свесив ноги, долго шарил в карманах в поисках билета, нашел, протянул проводнице и снова улегся.

– Чай? Кофе? – спросила она у Павла Александровича.

– Нет, спасибо, – сказал я.

– Чай, – сказал Павел Александрович.

Она кивнула и вышла.

Снова повисло молчание. Мимо окон плыл нескончаемый лес.

– А вы давно пишете? – спросил закадыка.

Павел Александрович подпер подбородок ладонью.

– Давно. С детства, наверное.

– Здорово, – сказал закадыка.

Павел Александрович пожал плечами.

– И всегда писали фантастику?

Павел Александрович кивнул.

– А почему пошли на юридический, а не на... литературный?

Я даже покосился на закадыку – чего это он такой разговорчивый?

Павел Александрович задумался.

– На литературный... Да я и не собирался, – сказал он, – как-то не было в мыслях. А юридический...

Он посмотрел в окно.

– Да случайно как-то.

И снова замолчали. Открылась дверь, вошла проводница. Она поставила перед Павлом Александровичем стакан чая – в подстаканнике. В стакане дрожала ложка, на подстаканнике была изображена слоновья голова, выглядывающая из джунглей.

Павел Александрович поблагодарил, расплатился, постучал ложкой по стенкам стакана и стал разглядывать слоновью голову.

Мне казалось, что я слышу мысли закадыки – во всяком случае, он в этот момент совершенно точно думал о содержимом своего портфеля; как и я. Мы не обсудили практическую сторону затеи, и теперь я начинал понимать, что пиво будет томиться в заточении, пока Павел Александрович не отправится на боковую.

Но Павел Александрович, казалось, и не думал отправляться на боковую. Он не дал чаю остыть и цедил его сквозь ниточки пара, пльвшие из стакана. Видно, чай взбудрил его, и он начал рассказывать про то, как его вывело на широкую дорогу юриспруденции.

– Поступал я на исторический, – говорил он. – У себя, в Уральске. Но пролетел – это сразу стало понятно. А у меня друг детства сюда, – он показал на лес за окном, – уехал после девятого класса. С родителями.

По вагону, за дверями, проплыли тяжелые шаги.

– Я приехал, подал документы. Друг в восторге. История меня больше не привлекала, а юридический тогда был самым престижным факультетом.

Он усмехнулся.

– И оказался я на юридическом.

Мы закивали одобрительно. В купе погас свет. Павел Александрович дотянулся до лампы над своей полкой и зажег ее. Теперь в окне отражались наши лица, а все остальное тонуло во мгле, и казалось, что за окном сидят трое незнакомых людей и о чем-то тихо – так что нам не слышно – разговаривают. Эти трое были полупрозрачные, и сквозь них было видно бесконечный черный лес.

Разошлись облака, и над лесом показалась луна. На лес посыпался холодный белый свет.

Закадыка ткнул меня в бок и похлопал по портфелю. Что он этим хотел сказать, я не понял; если это было напоминание – так я и не забывал.

Павел Александрович сидел с мечтательным видом.

– А друг уехал через пару месяцев. В Москву.

Он усмехнулся.

– А я остался.

Он зачем-то понюхал чай.

– Закончил юридический, на отлично. Оказалось, что юрист из меня может выйти неплохой. Остался в аспирантуре, потом позвали преподавать.

Мы молчали. Кто-то снова протопал по вагону.

– А фантастика... – Павел Александрович улыбнулся и щелкнул слона по хоботу, – это другое. Это, наверное, из детства.

Мы кивали.

– Ну а что ж, – спросил я, – старик мой не писал?

Я так и сказал – «мой старик», умереть можно.

Закадыка прыснул, Павел Александрович рассмеялся.

– Нет, не писал.

– Ох уж этот старик, – всплеснул руками закадыка.

Я выдавил из себя улыбку.

Лес за окном исчез, и его место ненадолго занял какой-то городок. Побежали мимо окна дома с темными окнами.

Павел Александрович отодвинул от себя стакан.

– Ладно, юристы, – сказал он. – Вы как хотите, а я – в горизонталь.

Он наклонился, расшнуровал туфли, снял их и аккуратно поставил под столик. Потом достал из своего саквояжа какую-то книгу, ткнул в угол подушку и, не застилаясь, растянулся на полке. Поставил книгу на грудь, открыл и стал читать.

Закадыка крякнул и пробормотал:

– Умоюсь, пожалуй.

Он встал и выпучил на меня глаза. Я сразу понял.

– Я тоже, пожалуй.

И мы вышли из купе. Прошли до середины вагона, остановились.

– Ну что? – спросил закадыка.

– Что?

– Как поступим?

Я пожал плечами.

– Давай ждать, пока уснет, – сказал закадыка.

– Давай. Только я расстелиться буду, мне сидеть надоело.

– Мне тоже.

На том и порешили. Мы еще немного постояли, глядя в окно – с этой стороны тоже был сплошной лес – и пошли обратно.

Павел Александрович читал.

– Что читаете? – спросил закадыка.

Павел Александрович назвал фамилию, в которую, кажется, уместились все буквы славянского алфавита, включая мягкий и твердый знаки.

Я достал из пакета белье и долго возился, заправляя верхнюю полку – напротив взъерошенного парня, спавшего к нам спиной.

Как только голова моя коснулась подушки, я понял, как сильно хочу спать. Но выпить пива под стук колес хотелось сильнее, и поэтому я лег набок, сунул руку под подушку, выгнул шею и стал смотреть в окно.

Внизу шуршал закадыка – шуршал и шуршал, шуршал и шуршал, точно ему вместо белья выдали десяток пакетов. Наконец наступила тишина.

За окном тянулся лес. Луна выбралась из-за облаков и откатилась в зенит. Звезд почему-то было совсем мало, и они были как в Турции – крошечные и бледные.

Время от времени над лесом вставали вышки – кажется, сигнальные, с двумя красными огнями. Выглядело так, будто нас провожают великаны с горящими глазами.

Мне такое сравнение показалось очень удачным, и у меня прямо язык зачесался поделиться им с Павлом Александровичем, но при закадыке было как-то неловко. Я покосился вниз – Павел Александрович читал, нахмурившись.

Я вернулся к своему занятию.

Стали попадаться особенно высокие башни, с четырьмя огнями – и можно было представить, будто это один великан сидит на плечах у другого.

Павел Александрович выудил из саквояжа ручку и стал что-то помечать – прямо в книге, на полях.

Я осторожно выглянул – так чтобы увидеть закадыку. Он лежал на спине с закрытыми глазами, скрестив руки на груди.

Павел Александрович посмотрел на меня.

– Свет не мешает?

– Нет-нет.

И я опять уставился в окно, ругая себя за нерешительность. Если бы я сказал, что да, мешает, совсем чуть-чуть, самую малость мешает – Павел Александрович наверняка бы погасил эту треклятую лампу и лег спать.

Теперь за окном плыли поля, изредка взрывающиеся рощами. Луна висела над ними, как фонарь, облака расползлись, оставив после себя какие-то лоскуты и обрывки.

Поля утекали к горизонту и там упирались в частокол леса, а если не упирались, то выливались за горизонт, как масло.

Я не заметил, как уснул.

Мне ничего не снилось. В поезде мне никогда ничего не снится. Не знаю, с чем это связано.

А проснулся я от того, что почувствовал, как кто-то трясет меня за плечо.

В купе было темно – только жидкий лунный свет пленкой лежал на столике, на спине взъерошенного парня и на круглом, как луна, лице закадыки, маячившем прямо передом мной.

– Ты чего?

– Тише! – зашипел он. – Слазь!

– Зачем?

– Пиво пить!

– Какое пиво, я сплю уже!

– Я что, зря шефа караулил?

Я потер лицо ладонью.

– Караулил?

– Он свет погасил полчаса назад. Сейчас точно спит. Я сам чуть не отключился, пока выжидал.

– Ты что, вообще не спал?

– Нет, – гордо ответил закадыка.

– Это ненормально, – пробормотал я и приподнялся. – Двигайся!

Закадыка отступил в сторону, и я слез, едва не завалившись на Павла Александровича.

– И что дальше?

Закадыка раскрыл портфель и выудил оттуда блестящие бутылки.

– Теплое, – скривился я.

– Какое есть.

Я взялся за ручку двери.

– Ты куда?

– В смысле куда? Пиво твое пить.

– Так давай здесь!

Я повертел пальцем у виска, он вальяжно махнул рукой.

– Да перестань! Не школьники!

– Ага, – зашипел я, – взрослые солидные юристы – едут на форум и надираются по дороге.

– Да успокойся ты!

Я сдался. Павел Александрович спал лицом к стенке, укрывшись простыней.

– Открывай.

Закадыка достал из-под подушки открывашку – у меня глаза на лоб полезли – и скрючился, как рак, и открыл обе бутылки совершенно бесшумно. Мы уселись на его полку и принялись молча пить.



Пиво было теплое и кислое. Дрянь, а не пиво, если быть честным.

Пейзаж за окном не менялся – лес, лес, лес, поле, поле, роща, лес, несколько домиков и снова лес, лес, лес. Оставшиеся после облаков лохмотья растаяли, звезды лениво шевелили лучами, зато луна была в ударе. Она, в двух третях, похожая на лепесток, летела по небу так, словно играла с нашим поездом в догонялки.

Сперва мы смотрели в окно и пили молча, а потом осмелели и стали перешептываться.

– Дрянь, а не пиво, – шептал я.

– Да, – соглашался закадыка.

– Не выспимся, – шептал я.

– Да, – соглашался закадыка.

– Форум будет – скукотища.

– Скукотища.

Мы с закадыкой отлично друг друга понимали.

Заворочался на верхней полке взъерошенный парень, из-под простыни высунулась его нога в сером носке.

Мы притихли.

Он опять заворочался, нога спряталась под простыню, воцарилась тишина.

– А ты правда рассказ читал? – спросил я.

– Да.

– И как тебе?

– Ничего.

– Тот старик прямо в восторге был.

Закадыка захихикал.

– Вот что ты за человек? – возмутился я. – Все уже поверили, один ты как не знаю кто.

Закадыка закрыл рот рукой и зажмурился.

– Никто не поверил, – зашипел он, сдерживая смех, – все думают, что ты его посеял.

– Кто все?

– Все!

– И...? – я показал на Павла Александровича.

Закадыка задумался.

– Нет, про шефа не в курсе.

– Ну и все, – я сделал глоток, – а на вас мне плевать.

Закадыка снова закрыл рот рукой и весь затрясся, лицо у него из белого стало пунцовым.

Успокоившись, он зашептал, не убирая руки:

– Все уверены, что ты, хитрая рожа, решил ситуацию вывернуть в свою пользу. Выдумал какого-то почитателя, чтоб перед, – он кивнул на полку напротив, – выслужиться.

У меня в ушах зашумело от возмущения.

– Ну, ты-то знаешь, что я бы так не сделал!

Он посмотрел на меня ехидно и пожал плечами. Я покачал головой.

– С такими друзьями...

Но закончить фразу мне не удалось – произошло нечто неожиданное.

Павел Александрович вдруг перевернулся на спину, открыл глаза и сел, свесив ноги. Закадыка спрятал руку с пивом под столик, так как сидел у окна, мне прятать было некуда, и я остался сидеть как сидел.

Павел Александрович равнодушно посмотрел на меня, потом на закадыку, перевел взгляд на окно. Потом зевнул в кулак, лег и отвернулся к стене.

Через минуту мы услышали ровное размеренное дыхание.

Я вытер со лба пот. Закадыка развел руками и сказал:

– Бывает. У меня брат во сне из квартиры выйти пытался.

– Жуть какая.

Закадыка посмотрел в окно.

– Может, это из-за луны?

– В смысле?

– Ну, луна, лунатизм. Она ж прямо на него светит.

И правда, сейчас полка, на которой лежал Павел Александрович была вся залита бледным светом, широкая серебряная полоса текла по подушке и, выгибаясь, ложилась ему на шею.

– Не неси чушь, – сказал я.

Закадыка привстал и задернул шторку. В купе стало значительно темнее.

Мы допили пиво, еще немного поспорили про луну и лунатизм, и я полез наверх. Закадыка тоже улегся, но потом встал и ткнул меня в плечо.

– Что?

– Ну признайся, – сказал он, – ну придумал же ты старика?

Я закрыл глаза.

– Ну, не чтоб выслужиться, – затараторил он, – а так, чтоб углы сгладить.

– Отвали, – сказал я, не открывая глаз. – Дай поспать.

Он захихикал и скрылся.

Как только он перестал шуршать, я сунул руку под подушку и снова стал смотреть в окно – шторка закрывала только нижнюю его часть. Поезд летел вдоль высокой насыпи, на хребте которой горели синие фонарики. Я стал их считать и спустя дюжину уже спал.

В ту ночь я проснулся еще один раз – не знаю, в каком часу. Поезд стоял, и в окно я видел засыпанный снегом перрон и низенький вокзал, за широкими окнами которого светился пустой зал ожидания с огромным циферблатом часов под потолком. От поезда удалялся наш взъерошенный попутчик – полка была пуста. Он толкнул дверь вокзала, и на перрон упал прямоугольник оранжевого света. Попутчик шагнул внутрь, дверь закрылась, и прямоугольник исчез.

Почти сразу же купе вздрогнуло, и мы тронулись. Я немного поразглядывал городок – домики высыпали к самым путям и смотрели на поезд с удивлением, за ними высилась гордо тонкая высокая башенка – и уснул.

Конечно, мы не выспались. Конечно, форум оказался таким скучным, что даже матерые юристы не выдерживали и засыпали – головы их предательски запрокидывались, рты широко открывались. Я таких счастливчиков насчитал в зале ровно десять. Я боялся стать одиннадцатым и потому сидел, согнувшись над блокнотом – хотя опасность поджидала со всех сторон: я мог упасть вниз. На сцене стояли столы, стулья, на столах торчали микрофоны, в них говорили выступающие, а за спинами выступающих лениво ползли слайды с колонками текста. Закадыка держался по-спартански – боролся со сном, как с заклятым врагом, сидел прямо и что есть мочи пучил глаза, чтобы выглядеть бодрей. Его глаза, наверное, было видно со сцены, а мы сидели на девятнадцатом ряду. Я представлял себя турком за стойкой и временами как будто слышал ту самую музыкачку, из лобби. Я был очень рад, потому что был уверен, что начисто забыл мотив – а выходило, что он просто прятался где-то глубоко и теперь вот выплыл на поверхность.

Павел Александрович сидел где-то впереди.

А после форума нас ждала новость – Павел Александрович сдал свой билет и остается кого-то повидать. И домой мы ехали вдвоем с закадыкой. Мы обрадовались, набрали пива, но выпить его не смогли – поезд еще отчалить не успел, а мы уже сопели на своих верхних полках. Внизу ехали какие-то мужики и всю дорогу играли в карты. Они говорили в голос, но спать это не мешало.

\*\*\*

Новый год в центре праздновали скромно – слишком бурной выдалась сессия. Павел Александрович зарывался в бумаги кафедры, совсем исхудал, осунулся.

Распили всей толпой две бутылки шампанского, сожгли десяток бенгальских огней. Павел Александрович сказал торжественную речь, посидел с дежурной улыбкой и уехал. Все стали разбредаться. Мы с закадыкой отправились в бильярдную и гудели там до утра.

Зато в конце января произошло нечто грандиозное.

Первую пару в тот день отменили, но я и ко второй – семинар по трудовому – успеть не смог. К тому времени, как я влетел на факультет – красный, запыхавшийся, на ходу стягивая куртку – семинар шел уже минут пятнадцать.

Та зима была какая-то бутафорская – снег если и выпадал, то жиденький, хилый. Он жался к бордюрам, быстро превращался в серую кашу и испарялся. Казалось, что это не зима, и не весна, и не осень даже – и уж тем паче не лето – а что-то безвременное, мистическое.

Я вручил куртку негодующей гардеробщице и понесся по коридору – аудитория соседствовала с закутком, в котором прятался наш центр. Уже у самой двери, подняв кулак для извиняющегося стука, я вдруг изогнулся и заглянул за угол. Мне открылась странная картина.

Перед дверью, согнувшись, стояла Наташка. Ухо она прижимала к замочной скважине, лицо было сосредоточенное.

Я опустил кулак.

– Эй, – позвал я. – Ты чего?

Наташка вздрогнула. Она мгновенно выпрямилась, поправила волосы и посмотрела на меня с прищуром.

– Что там? – повторил я.

Наташка продолжала смотреть с прищуром.

– Там твоя реабилитация, – сказала она наконец.

Я не понял.

– Старик твой прибыл!

Я даже закашлялся. Я уже и сам временами сомневался – не пригрезилась ли мне та встреча на почве обильных возлияний?

Я тихо подошел.

– Можно посмотреть?

Наташка фыркнула. Я наклонился к скважине.

В центре и вправду был мой старик. Он восседал в кресле Павла Александровича и что-то вещал, вдохновенно жестикулируя. Павел Александрович сидел за столом, за которым обычно сидят клиенты, и внимательно слушал. Старик был одет в песочного цвета пиджак, шея под самую бородку была повязана толстым цветастым шарфом.

– И так уже полчаса, – сказала Наташка.

Я выпрямился.

– Про что говорят?

– Про фантастику в основном, слышно плохо.

Я почувствовал, как у меня сами собой расправляются плечи, а подбородок ползет вверх. Какой я высокий на самом-то деле, какой статный. Я посмотрел на Наташку торжествующе.

– Ой, ладно-ладно, – замахала руками она. – Будешь теперь...

Я благосклонно кивнул. И услышал свою фамилию – но прозвучала она не из замочной скважины, а из-за Наташкиной спины. В закутке появилась Марина Викторовна.

– Ты совсем обнаглел?

Я мгновенно сжался и перестал быть высоким и статным.

– Живо в аудиторию!

Я сжался еще сильнее, рискуя сломать спину, и просеменил мимо нее.

При виде меня группа восторженно сопела, закадыка защелкал пальцами.

– Старик приехал, – буркнул я ему сходу, не обращая внимания на смешки.

– Присаживайтесь, пожалуйста, – склонил голову он.

Я выложил на стол тетрадь и ручку.

– Ой остряк, – сказал я. – Порежусь сейчас.

Он благодарно кивнул.

– Старик, – повторил я. – Тот самый.

По лицу закадыки, как рябь по водной глади, побежали эмоции – сразу несколько, и все разные. Мне даже страшно за него стало, вдруг перегорит.

– Гонишь!

– Пойди проверь. В центре заседает.

Закадыка тут же вскинул руку.

– Марина Викторовна, – воскликнул он, – можно выйти?

Марина Викторовна даже не посмотрела на него.

– Нет.

Закадыка приуныл.

– Врешь же.

Я вложил в свой взгляд все презрение, на которое был способен.

А спустя минуту мы увидели, как мимо окон аудитории идет медленно по серой дорожке Павел Александрович, а рядом с ним, в песочном пиджаке и цветастом шарфе, со стаканчиком кофе, размахивая свободной рукой, не переставая улыбаться...

Старик все говорил и говорил, а Павел Александрович слушал и изредка кивал.

Я думал, закадыку удар хватит, приготовился на помощь звать.

Они прошли в одну сторону, потом в другую. Постояли у лавки – теперь говорил Павел Александрович – сделали круг, дошли до самой дороги, постояли спиной к факультету, развернулись и двинулись обратно. Вскоре мы услышали шаги за дверью аудитории.

До конца семинара мы сидели, как на иголках. Дважды меня поднимали, задавали какие-то вопросы – но я к тому времени собаку съел на трудовых спорах в центре и держался молодцом. Марина Викторовна даже сменила гнев на милость.

– Вот есть же что-то в голове, – сказала она горестно. – Был бы посерьезней...

Я согласился.

Как только прозвенел звонок, мы с закадыкой понеслись к центру, сшибая все на своем пути. У двери по-прежнему топталась Наташка.

– Что там? – спросил я.

– Все то же.

Я высоко поднял голову, подошел к двери, присел на корточки, чтобы не гнуть идеально прямую спину, и заглянул в скважину.

Теперь Павел Александрович сидел в своем кресле, а старик ходил перед ним туда-сюда, скрестив руки на груди, и что-то говорил. За ними белело окно, и в него было видно серое уснувшее поле, над которым висело такое же серое небо.

Я выпрямился. К центру стекались наши – тут уже были и зубрила, и несколько новичков.

– Поняли? – сказал я важно и, не дожидаясь ответа, прошествовал мимо них. Еще можно было успеть в буфет.

Я взял кофе и давился им, обжигая губы – боялся снова опоздать. Я стоял у буфета, навалившись на высокий столик, – из тех, что органично смотрятся в рюмочных. Факультет галдел, студенты носились туда-сюда, с лестницы на лестницу, осаждали буфетчицу, толклись у гардероба, нарезали круги по холлу, хохотали, кричали, ругались, хлопали друг друга по плечам.

Я закрыл глаза, и стал представлять, что стою в терминале аэропорта. Еще чуть-чуть – и взвоят где-то двигатели, засвистят турбины. Гул усилится, станет оглушительным, а потом вдруг поплывет куда-то, расплываясь и исчезая.

За высоким окном бледнели лавки, подобие сквера, широкая дорога и обступившие ее новостройки. Зимой работы останавливались, и те дома, что не успели вырасти до нужной высоты, молчаливо смотрели на факультет черными прямоугольниками окон. Можно было подумать, что дома – это стоглазые великаны, дальние родственники тех, что я видел из поезда.

Все было бледно-серое, даже студенты – те из них, кто вываливался из стеклянных дверей и, ежась, семенил по дороге – тоже бледнели и вращались в пейзаж.

Я допил кофе и меня передернуло – ко дну стакана липла густая коричневая жижа – и побежал к аудитории.

– Может, отпросимся, – предложил закадыка.

Я фыркнул.

Когда зазвенел звонок, мы уже сидели на местах – ни дать ни взять отличники.

А посреди семинара – я даже во вкус вошел и во все горло пел про основания заключения срочных трудовых договоров – дверь в аудиторию отворилась, и Павел Александрович попросил Марину Викторовну отпустить меня на пару минут.

– Разбаловали вы их, – сказала Марина Викторовна.

Я вышел. В коридоре стояли Павел Александрович и старик. Увидев меня, старик расплылся в ликующей улыбке.

– Здравствуйте! – закричал он так громко, что слышно было, наверное, на том конце поля.

Я поздоровался.

Старик повернулся к Павлу Александровичу.

– Прелестный молодой человек, – сказал он, – настоящий интеллигент. Вы бы видели, с каким серьезным видом он читал вашу книгу.

Я вспомнил, в каком состоянии я читал «Город джаза», и мне даже стыдно стало. Старик посмотрел на меня.

– Я привез книгу. Мы с Павлом Александровичем презанятно побеседовали относительно ее содержания.

Я кивнул.

– Вы ведь не обижаетесь на меня?

– За что?

– За то, что я самым беспардонным образом увез книгу с собой.

Я помотал головой.

– И все же, позвольте еще раз извиниться, – он затряс мою руку. – Но у меня просто не было выбора!

– На вашем месте я бы поступил точно так же, – сказал я серьезно, зная, что никогда бы так не поступил.

Старик рассмеялся.

– Что ж, – сказал он наконец, перестав смеяться, – а теперь позвольте мне откланяться. В вашем чудесном городе я проездом, и мне, к великому сожалению, надо спешить.

Только сейчас я заметил, что на нем длинное, песочного цвета пальто.

– Я вас провожу, – сказал Павел Александрович.

Старик снова затряс мою руку, а я стоял и улыбался как дурак.

– Всего доброго, – сказал он мне.

– До свидания.

Он отпустил руку, отвесил мне небольшой поклон – я ответил тем же – и они с Павлом Александровичем пошли по коридору в сторону холла.

Я постоял, глядя им в след, а потом высунулся в закуток. Дверь в центр была открыта, за столом сидела Наташка и что-то писала. За ее спиной на поле сыпался мелкий редкий снежок.

– Наташка! – позвал я.

Она подняла голову.

Я показал ей язык.

\*\*\*

После визита моего старика Павел Александрович какое-то время вел себя странно – он стал рассеянным, задумчивым, постоянно что-то забывал и терял, и даже на лекциях вдруг замолкал и молча смотрел в окно – по нескольку минут.

В центре в течение дня он появлялся редко, но если появлялся, то с таким ожесточением стучал по клавиатуре, что вставали со своих мест и выходили в коридор все – даже самые нечуткие новички, которые вообще непонятно как попали в центр и все только сновали туда-сюда с ошалелыми глазами, шушукаясь между собой про иски, пеню, сервитуты и прочее.

Зато вечера Павел Александрович просиживал в центре безвылазно. Мы с закадыкой возобновили катания по полю – теперь на «тойоте» закадыкиного отца – и всякий раз свет в окне горел допоздна.

Поползли слухи, что Павел Александрович пишет роман. Кто эти слухи распускал, мне неизвестно до сих пор, деталей не было никаких – роман, и все. Спросить мы, разумеется, робели.

– Интересно, о чем они говорили? – задумчиво спрашивал закадыка.

– Кто?

– Шеф. Со стариком твоим.

Я делал важное лицо и поднимал вверх указательный палец.

– Про судьбу жанра.

– А ты почему знаешь?

Я устало вздыхал и качал головой.

Однажды мы подкараулили Павла Александровича на крыльце факультета. Было около одиннадцати, темень стояла страшная, дорога тонула во мгле, там ни один фонарь не горел, а у крыльца горели целых два – и застилали крыльцо белым светом. Мы с закадыкой нарочно сидели в машине и ждали.

Снега не было. Не зима, а не пойми что.

Открылась стеклянная дверь, Павел Александрович вышел на крыльцо, остановился и с минуту просто стоял, глядя на дорогу. Потом сунул руки в карманы и шагнул вперед.

Я открыл дверь, высунулся и крикнул:

– Павел Александрович!

Он остановился, прищурился, помахал.

– Вас подвезти?

Он посмотрел на дорогу, пожал плечами и подошел к нам. Я пересел назад.

Павел Александрович жил – и все это знали – в общежитии за главным корпусом, в новом крыле. Ехать было несколько минут.

– Вы чего здесь делаете? – спросил Павел Александрович.

Мы, сбиваясь, объяснили.

Было так темно, словно мы ехали в тоннеле – пока не добрались до перекрестка, с которого стал виден главный корпус, я так и ждал, что с обочины на машину кто-нибудь выпрыгнет.

В зеркало было видно сияющее крыльцо факультета.

– А я вот права выбросил, – сказал Павел Александрович. – Не мое.

Мы обогнули главный корпус и остановились перед общежитием. Павел Александрович поблагодарил нас и вышел.

У общежития толклись студенты, громко смеялись. Один стащил с себя шапку и зачем-то забросил на козырек крыльца. Мы с закадыкой заглушили мотор и стали наблюдать за тем, как студенты подсаживают друг друга, карабкаясь на козырек.

Когда шапка была спасена, мы моргнули умникам дальним светом и уехали.

Через пару недель Павел Александрович стал приходить в норму, рассеянность, вызванная таинственными речами старика, исчезала, и по всему было видно, что его, что называется, «отпускает».

Старик сыграл очень важную роль в наших с Павлом Александровичем отношениях, он стал как будто доверительнее ко мне относиться, и теперь, если мы оставались в центре вдвоем, мы уже не молчали, а вполне себе о чем-то говорили. Вернее, говорил он, а я слушал.

Из этих бесед я узнал много презанятных фактов. Например, я не без удивления обнаружил, что «творит» в свободное от преподавания время почти весь педагогический состав факультета.

Марина Викторовна, например, лепила из глины. А старичок-криминалист писал пьесы для студенческого театра.

– Что-то тут есть, – говорил Павел Александрович, – какая-то закономерность.

Я кивал. Кивал и прикидывал, чем мог скрашивать досуг наш тиран, до встречи с которым оставалось около полугода.

– Но это все другое, – говорил Павел Александрович спустя минуту, и было непонятно, что он имеет в виду.

А переспрашивать я не решался – боялся выглядеть дураком.

«Город джаза» я дочитал. Последний рассказ меня очень впечатлил. В нем говорилось о доме, стоящем на вершине горы. В доме живет семья – возделывает огород, читает, обсуждает последние новости, пьет по выходным вино, семья как семья. Но только вот гора оказывается не просто горой, а частью какого-то механизма, и огород за домом – механический, плоды из почвы выпрыгивают как на пружине, и кролики, осаждающие огород, – тоже механические. Семья живет в достатке и довольствии, но никто не понимает, что происходит, как все работает и зачем все это нужно. Живет себе и живет.

И есть в доме подвал – даже, так получается, подвал подвала, люк в полу, ведущий в самое нутро горы, а оттуда – звон, гул, скрип неведомых механизмов. Ну и понятно, в этот люк никто не суется, потому как незачем – никто, кроме любознательного паренька, младшего сына, которому, видишь ли, мало просто жить-поживать, а надо еще и докопаться до сути, так сказать, вещей.

Рассказ был коротенький – страницы в четыре. Я прочел и его, захлопнул книгу и воскликнул, обращаясь к Павлу Александровичу, который сидел в своем кресле и, кажется, был готов задремать:

– Есть!

Он вздрогнул. Кроме нас в центре был новичок с ошалелыми глазами, он посмотрел на меня с ужасом.

Он как раз готовил документы в юстицию, а это может отразиться на психическом равновесии.

Я встал, подошел к Павлу Александровичу и вручил ему «Город джаза».

– Большое спасибо, – сказал я.

– Не прошло и двух лет, – пошутил он.

Он последнее время, после того как его «отпустило», был какой-то слишком уж веселый.

Задерживаться он стал реже, лекции вел с прежним воодушевлением. И все меня мучал вопрос – о чем конкретно они говорили тогда, в январе? О «будущем жанра», о призвании – это понятно. Но вот конкретно – о чем?

А в самый разгар весны – такой же невзрачной, надо сказать, как и зима – центр ждали перемены – мы переезжали с первого этажа на второй. И не в укромный закуток, как мы привыкли, а на самый «солнцепек» – от деканата нас теперь отделяла только площадка с диванами и расписанием.

Для Павла Александровича это было трагедией. Он ходил как в воду опущенный, ругал новый кабинет почему зря, по сто раз перетаскивал столы и стеллажи с места на место и с ненавистью смотрел на каждого клиента, который заходил и восклицал:

– Ой, а здесь даже уютнее!

И только бабульки, стекавшиеся к нам за претензиями в адрес управляющих компаний и исками против соседей по даче, выражали недовольство тем, что теперь приходится подниматься по «этой ужасной лестнице». Павел Александрович воспылал любовью к бабушкам и каждую встречал с королевскими почестями.

Вдобавок ко всему при переезде упал и раскололся песочный пейзаж. На пол медленно потекла зеленая маслянистая жижа вперемешку с катышками песка. Ужасная была картина.

И у меня была своя, личная, потеря – я вдруг понял, что отныне в центр смогу попасть только через дверь, и для меня это сразу отсекло львиную долю былой романтики. Я даже не удержался – спустя неделю после переезда попросил на вахте ключи, пробрался в родной закуток и открыл дверь, на которой теперь висело несуразное, наспех напечатанное объявление: «Центр правовой п-щи переехал в каб. № 211».

Если бы не трагичность ситуации, мы с закадыкой долго бы смеялись над правовой «п-щей».

Я открыл дверь, шагнул в голую тесную комнату с бледными стенами, потоптался немного, а потом распахнул окно, выглянул в него, удостоверяясь, что меня никто не видит, и вылез наружу.

Поле было притихшее, тоскливое, трава – невысокая и тусклая, пахло сыростью. Небо напоминало туго натянутое серое сукно, издалека смотрела равнодушно высотка. Справа от нее росла еще одна, слева закладывали фундамент третьей.

Я сунул руки в карманы, постоял немного, достал из кармана ключ и нацарапал на стене, под окном, розу ветров. Роза ветров вышла так себе, не чета своей сестрице из аудитории, но какой бы она ни была, я сразу понял, что здесь – ее законное место.

Но обратно в окно я уже не полез. Я обошел факультет, протиснулся по коридору, рискуя быть затоптанным – перемена – шагнул в пустую комнату, закрыл окно, вышел и дважды провернул красивый бронзового цвета ключ. Дернул ручку, поправил объявление. Потом вернулся в холл и отдал ключ вахтеру.

Больше я ту дверь не открывал – и в комнату не заходил. За лето в нее перевезли архив, и она превратилась в... не знаю во что. Во что-то незнакомое.

Зато к новому кабинету я привык на удивление быстро. Поле из его окна начиналось не с серой полосы асфальта перед факультетом, а сразу с травы – и в этом была своя прелесть. Портил пейзаж столб, стоящий ровно напротив окна и деливший поле на две равные части. Столб был светло-серый – в тон весне – и прямоугольный, с шербатыми краями. Павел Александрович столб возненавидел с первой встречи и придумывал ему обидные прозвища, а мне он даже нравился – не знаю, почему. Я предложил повесить на него часы, но на меня посмотрели как на сумасшедшего.

Хотя Павел Александрович потом говорил, что идея была классная – да только он не мог ее тогда оценить по достоинству, слишком уж негодовал из-за переезда.

Думаю, и на творчестве перемены сказались – теперь Павел Александрович стучал по клавишам не так агрессивно, а все больше сидел, уставившись в экран, часто вздыхал, вставал и шел к чайнику; или поворачивался к окну, но там его встречал столб.

Но это, конечно, было явлением временным. Перед самым летом – и, к счастью, лето обещало быть таким, каким положено – когда нас с закадыкой волновала только сессия, в тени которой мы копошились, я вдруг не без радости заметил, что Павел Александрович терзает клавиатуру с прежним задором и, повернувшись к окну, не отскакивает в ужасе, а сидит как ни в чем не бывало и подолгу смотрит на поле. Я все хотел спросить, как там его роман – и был ли вообще роман, а если не был, то будет ли – но как-то не складывалось. Сессия выдалась жуткая – вершиной обелиск терялся в облаках, его поверхность мелко дрожала, казалось, что сейчас по ней побегут с треском искры. Ох и натерпелись мы с закадыкой страху, я имя свое чуть не забыл – не то что историю с романом.

\*\*\*

А летом, в июле, я разродился рассказом.

До этого я писал только в школе – стишки. Но в нашей – про другие не знаю – школе было сложнее встретить того, кто стихов не писал, так что это, разумеется, не в счет.

А тут вдруг...



Гостил у бабушки. Наелся до отвала, пошатался, держась за бока, по двору, заглянул в сарай. Отыскал игрушку, с которой в детстве не расставался – пошмыгал носом. Пытался влезть на яблоню – сноровка не та. А тут и дождь начал накрапывать – пришлось вернуться в дом.

Отбился от уговоров поест еще, пошел бродить по комнатам. За стеклянными дверцами – книги, книги, фужеры, керамика, книги, книги, фотографии в рамках.

На одной из полок, в самом углу, я обнаружил ракушку – здоровенную, с зубцами, завернутую рогом. Песочного цвета – в полоску. Нутро – нежно-розовое, блестящее.

Эту ракушку я помню с детства – все слушал, как море в ней играет.

За окном потемнело, напоззли со всех сторон тучи, дождь забарабанил по подоконнику. Я устроился поудобнее в старом продавленном кресле и приложил ракушку к уху.

Шумит. Никуда не делось. За окном дождь, сирень сутулится, клен руками машет, а у меня тут – море.

И меня как будто и впрямь волной накрыло – как окатило: пиши рассказ! Я поерзал в кресле, отнекиваясь. А из ракушки шумит:

– Пи-ши.

А чего это мне, думаю, отнекиваться? Можно и мне написать чего-нибудь, чем я хуже других? Пошарил по письменному столу, раздобыл тетрадь, ручку, зажег торшер, нырнул обратно в кресло и – творить.

Пришла бабушка, принесла чаю с плюшками.

Творил я вдохновенно, вскакивая с кресла и расхаживая по комнате. Ерошил волосы, хлопал в ладоши и подмигивал отражению в зеркале. Колпачок у ручки изгрыз.

Гроза, стихия бушует, молнии сверкают, а я – творю. Ваяю.

Наваял... О, что я наваял! Даже сейчас с уважением смотрю на то, что я наваял. А уж тогда...

За окном гремело, сирень в испуге жалась к забору, клен стоял, как сторожевая башня, а у меня под ручкой громоздились друг на друга приключения, повороты, чудеса – и далее, далее, далее.

Закончил я, когда за окном было совсем темно, бабушка дремала в соседней комнате, а дождь устал барабанить и просился на покой. Рассказ вышел небольшим, но мне казалось, что это не рассказ, а роман-эпопея в четырех частях с эпилогом.

Конечно же, мне ужасно хотелось показать текст Павлу Александровичу.

Я только с названием запнулся – никак не мог выбрать подходящее, маялся, проговаривал вслух варианты и остановился на самом простом – «Море».

Дома я первым делом перепечатал «Море», торжественно вытащил из принтера стопку теплых листов и спрятал от посторонних глаз в тумбочку.

С Павлом Александровичем удалось встретиться только в августе.

Я знал, что он захаживает на факультет летом – и караулил его, приезжая чуть ли не через день и надоедая вахтеру расспросами – приходил? а когда? а надолго?

Наконец я его поймал. Поймал у двери центра, когда он звенел ключами, закрывая дверь.

– О, – удивился он, – ты чего здесь?

– Павел Александрович! – крикнул снизу, из холла, вахтер. – Это тот самый! Я вам говорил!

Я кивнул.

– Павел Александрович, – сбиваясь, начал я. – Тут такое дело...

Заикаясь и краснея, я объяснил ему, что написал рассказ, в некотором роде – шедевр, в некотором роде – открытие, и теперь жажду услышать его экспертное мнение.

– Отлично, – сказал он, забирая из моих рук листы. – Обязательно прочту.

Я просиял.

Он посмотрел на часы.

– А прямо сейчас и прочту.

Я потерял дар речи. А Павел Александрович снова позвенел ключами и распахнул дверь. Я увидел окно, а за ним столб, пересекающий густо-зеленое поле пополам.

– Идешь? – спросил Павел Александрович.

Я замотал головой.

– Нет-нет, я тут подожду.

Не хотел мешать.

Павел Александрович пожал плечами и скрылся за дверью.

Я выдохнул. Постоял, рассматривая дверь, прошелся по коридору туда-обратно, заглянул в окна потоковой аудитории – пустые ряды уходили вниз с такой решимостью, словно были готовы протискиваться под преподавательский стол и бурить грунт. В окна било солнце, на улице стояла жара. Я развалился на диванчике под расписанием, прикинул, удобно ли на нем спать, спустился на первый этаж, прошел мимо вахтера – он посмотрел недовольно – на улицу, стал на крыльце.

Дорога утекала вперед, с обеих сторон на нее наседали высотки. Перед факультетом стояли в ряд несколько клумб в бетонных лукошках, точно факультет пытался ими отгородиться. Вдалеке дорога вращалась в перекресток, и там сновали, сверкая боками, автомобили.

Было жарко, но совсем не душно, как-то пронзительно жарко. По небу скользил пух облаков.

Дверь за моей спиной открылась, и я услышал:

– Прочел.

Я обернулся.

– Что скажете?

– Очень даже неплохо.

Он вернул мне рассказ.

– Правда?

– Правда.

Повисла тишина. Я ждал подробностей, но их не было.

– Ну, – спросил я, – то есть ничего?

– Да, вполне достойно.

Я аж вспотел.

Снова повисла тишина.

– Кое-что я, конечно, изменил бы, – сказал Павел Александрович. – Но в целом – да, неплохо. Говоришь, это дебют?

Я замялся.

– Стишки же не в счет?

– Все в счет.

Я нашелся:

– В фантастике – дебют.

Он одобрительно кивнул.

– Тогда – вдвойне неплохо.

Он посмотрел на часы и кивнул на дорогу.

– Идешь?

– Да-да, конечно.

И мы направились к перекрестку.

Пока шли, Павел Александрович несколько расшифровал свое «неплохо» и озвучил пару «проблемных мест».

– Но говорю же, – повторял он как заведенный, – для дебюта – это совсем даже неплохо.

Конечно, не такой реакции я ждал. Я думал, что он меня тут же заключит в объятия, наречет своим братом-писателем и позовет пить пиво, а он все твердил про свое «неплохо» и про «дебют». Поэтому я слушал вполуха. Мне пекло макушку, листья липли к ладоням, а еще ехать через весь город.

Но у самого перекрестка ко мне вернулось благодное расположение – мы ступили в прохладную зеленую тень, и Павел Александрович сказал:

– В этом деле очень важен опыт. Напиши еще рассказ.

Он помолчал и добавил:

– И лучше – не один.

Я кивнул.

– И как напишешь – сразу носи ко мне.

Я кивнул.

– Все, что напишешь – носи. С радостью прочту и поделюсь мнением.

Он отчего-то так повеселел, точно я все же стал его братом-писателем, но только сообщать об этом было рано.

– И могу порекомендовать тебе несколько книг.

Он озвучил целый список.

Подул ветер, зеленая тень, в которой мы стояли, задрожала. Ветер подхватил список странных названий и унес – я не запомнил ни одного из них.

– Вот, – подытожил он.

– Спасибо.

– Ну, до сентября, – улыбнулся он. – Сколько у нас до сентября?

– Две недели.

– Прекрасно. Роман можно написать.

Мы попрощались, и он зашагал в сторону главного корпуса. Я остался стоять в зеленой тени с рассказом в руках. По листьям скользили, догоняя друг друга, темные и светлые пятна. Сладко пахло – кажется, липой.

\*\*\*

Но никакого романа я не написал. И повести не написал, и рассказа. Несколько раз сидел с умным видом за стол, грыз ручку, выводил на бумаге вензеля – но написать ничего не смог. Я даже к бабушке нагрюнул – за вдохновеньем. Померял комнату шагами, посидел в кресле, послушал ракушку, поглазел на сирень за окном – и пошел наворачивать пироги.

Возможно, всему виной была жара – лето, оправдываясь за зиму и весну, явно перестаралось. Солнце пекло ужасно, даже трава пожухла; на улицах было пустынно, зато озера осаждались толпами измученных горожан. Мы с закадыкой как с утра залезали в воду, так до вечера в ней и сидели. Загорели как негры, какая там Турция.

По озеру, кроме бесчисленных матрасов, сновали лодчонки и даже один плот – из-под досок топорщились ряды связанных вместе пластиковых бутылок. На плоту восседали с важным видом мальчишки – бронзовые, с белыми от солнца волосами. Они дразнили всех подряд и один раз обозвали закадыку поплавком. Он оторопел, но ничего не ответил.

– Мы такими не были, – сказал он мне, выбравшись на берег.

– Не были, – подтвердил я.

Потом наступил сентябрь, а жара все не уходила – вода в буфете заканчивалась к полудню, факультет стонал и охал. Все окна были распахнуты настежь, и во время лекций мы смотрели, как над выцветшим полем плывут, извиваясь, волны раскаленного воздуха.

На том краю белели уже четыре новостройки. Дома росли не по дням, а по часам, и казалось, что придешь завтра – а поля и нет уже, и вместо него микрорайон какой-нибудь.

Центр правовой помощи открылся в конце сентября – и жара тут же спала, точно только нас и ждала. Лето раскланялось – «будьте, мол, любезны» – и удалилось. Наступала осень.

Все вздохнули – учебный процесс понемногу стал набирать обороты.

Со дня на день ждали из командировки тирана. Он куда-то там летал набираться опыта, и пока его не было, его даже никто не заменял – в расписании зияли окна. Но вот он уже летел обратно – и сквозь теплое бабье лето ползла от студента к студенту ледяная струйка февральского мороза. Эта струйка не давала нам спокойно жить, и мы с ужасом думали о том, что вот, со следующей недели, нас ждет то самое, о чем мы четыре года слушали от заикающихся выпускников.

Один закадыка храбрился.

– Мне, – говорил он, – ваш тиран – так, пшик. Я, – говорил он, – уже не мальчик, себе цену знаю.

Я старался про тирана не думать. Будет и будет. Будет же когда-нибудь старость – не думать же теперь о ней ежечасно. Но временами и за мой воротник заползала ледяная струйка – и я начинал, как когда-то, жалеть, что не пошел на истфак или на иняз, или еще куда-нибудь, главное – подальше от тирана. Это при том-то, что у меня учеба пошла-таки в гору – и хвалила меня теперь уже не одна только Марина Викторовна.

А тут еще и писательские амбиции вернулись. Я вспомнил ракушку, вспомнил, как она шумит, вспомнил слова Павла Александровича про «будем обсуждать» – первые две недели ему было явно не до меня, он носился по факультету с кипами бумаг, исследуя новое расписание и какие-то новые порядки на кафедре – вспомнил и то, что я теперь почти что «брат-писатель», а значит, мне хочешь не хочешь, а надо ваять. И в один прекрасный вторник, во время дежурства в центре, с легким сердцем отказавшись от похода в столовую – закадыка даже обиделся и смотрел подозрительно – я набрал в грудь побольше воздуха, задержал дыхание, зажмурился – и сидел так, пока не заныло в солнечном сплетении. Тогда я открыл глаза, шумно выдохнул, поднял ладони над клавиатурой на манер пианиста и обрушился на нее в лучших традициях Павла Александровича.

Окно было открыто, и сквозь него в центр тек теплый осенний ветер. Он шевелил бумаги, рассыпанные на подоконнике, и качал из стороны в сторону одинокий цветок, принесенный в центр Наташкой.

Наташка уже выпустилась и работала в арбитраже, но с завидной регулярностью заезжала – то чаю попить, то новости обсудить.

На исходе второй страницы я, однако же, растерял весь пыл, и теперь по клавишам стучал не град, а редкий, готовый вот-вот замолчать, дождик. На середине третьей он и впрямь замолчал – и молчал долго. Потом он снова закапал – совсем робко, спотыкаясь и сомневаясь, а на третьей строке четвертой страницы я убрал руки от клавиатуры, перечитал написанное и закрыл документ в твердой уверенности, что писательская стезя – не для меня.

Меня охватила тоска. Над полем плыли караваны белоснежных облаков. Но это была какая-то прозрачная тоска, игрушечная – я чувствовал, что она скоро уйдет и что зацепила она меня как-то не всерьез, по касательной. Но все равно чувствовал себя скверно.

Я дотянулся до тумбочки, стянул с нее «Город джаза», открыл на случайной странице и стал читать.

Скрипнула дверь. Я даже голову не поднял. Сейчас скажет:

– Зря ты не пошел, борщец сегодня – что надо.

А я ему скажу:

– Вот и целуйся со своим борщцом.

Но это был не закадыка. Это была Ирина Васильевна из деканата. Я узнал ее по голосу.

Она сказала:

– Сильно занят?

Я вскочил и накрыл «Город джаза» жалобой в антимонопольную службу.

– Нет.

И тут же поправился:

– Да.

А потом еще поправился:

– Ну, так.

Она пристально посмотрела на меня.

– Работать хочешь?

Я промолчал, не зная, что нужно отвечать в таких случаях – прежде подобных вопросов я не слышал.

– Если хочешь, иди. Там в деканат звонят, юриста просят.

Так я был спасен от игрушечной тоски, от тирана и почти тысячи лекций. Я что-то побасил в трубку, меня пригласили на собеседование, я показал себя молодцом, и уже через неделю, накануне возвращения тирана, я щеголял волшебным статусом «свободное посещение» и трудовой книжкой, в которой красивым круглым почерком было написано: «юрисконсульт».

\*\*\*

Понятно, что совмещать работу в центре и работу на, собственно, работе – так себе занятие.

Исключение своей фамилии из графика дежурств я воспринял на удивление спокойно. Я, во всяком случае, оставался здесь своим и мог в любое время наведываться в гости – Наташка вон наведывается, а я чем хуже?

Павел Александрович поздравил меня с выходом на «качественно новый уровень», закадыка похудел от зависти (он был уверен, что трубка в деканате ждала его, а не меня, и злился на ни в чем не повинный борщ), новички шарахались и смотрели почтительно.

А для меня началось что-то совсем новое. Какая-то другая жизнь захлестнула меня и увлекла за собой. Работа оказалась куда интересней учебы – и должен отдельно отметить, что мне всерьез повезло и с коллективом, и с условиями. Меня взяли в небольшую частную компанию в то время, когда она переживала лучшие свои времена и дерзала расширяться. Я оказался частью этого расширения – пристройкой с гордым именем «юридический отдел», который состоял из меня одного. Я был в известной степени свободен в своих действиях, ни с кем не воевал, не соперничал, не конкурировал, никто надо мной профессионально не довлел – я сидел в своем юридическом углу, обложившись документами, и решал одну задачку за другой – без авралов и цейтнотов. С монитора на меня с улыбкой смотрел милый толстяк с сотней подбородков, и я уже признавал в нем доброго старого знакомого – и даже сам себе удивлялся: за что я его когда-то так ненавидел?

Юриспруденция ожила, из сухой теории превратилась в полнокровную, осязаемую практику – я и сам не заметил, как влюбился вдруг во все это крючкотворство, во всю эту нормативность, во всю эту солидность и запутанность. Я стал обрастать опытом – смешным с профессиональной точки зрения, но все же опытом – и спустя какое-то время уже таскал на себе целую башню, из которой во все стороны выглядывали стекла телескопов.

Факультет как-то незаметно отошел на второй план, новая жизнь его заслонила. Он не исчез совсем и даже более того – если я выходил из офиса и ехал на лифте до двенадцатого этажа, а потом, минуя два ряда дверей, коридором пробирался к лестнице, то в маленькое квадратное окошко я видел и поле, и белый бок факультета. Отсюда он, загороженный новостройками, казался игрушечной коробочкой, и трудно было поверить, что в этой коробочке прямо сейчас ходят по коридорам Павел Александрович и закадыка, тиран и Марина Викторовна – и еще пятьсот человек – что там кипит жизнь, так не похожая на мою, что там пишется какой-то фантастический роман и что туда приезжал хитрый турецкий старик, утащивший мою книгу.

Когда у меня голова начинала болеть от непрерывного сидения перед монитором, я тащился на двенадцатый этаж и стоял у окна, глядя на факультет, на поле и на крыши ближайших домов. У горизонта город исчезал, уступая место широкой темной полосе леса, вставшей прямо в небо.

Первое время я приезжал в центр чуть ли не трижды в неделю – в обеденный перерыв. Сидел, водрузив солидный черный портфель прямо на стол, пил кофе и слушал закадыку. Если дежурили не знакомые мне новички, я просто сидел с важным видом и смотрел на поле. Поле не менялось. Оно с опаской поглядывало на подступающие дома, но от этого только казалось еще уютней.

Павел Александрович был сильно загружен, разрывался между двумя телефонами и деканатом – а тут еще очереди из клиентов – и в итоге только два или три раза мы с ним могли нормально, обстоятельно поговорить.

Поначалу он спрашивал – не написал ли я рассказ, или, быть может, повесть, но мне думается, что спрашивал он это из вежливости, чтобы поддержать разговор. Я разводил руками, мычал что-то, ссылаясь на плотный график – и расспросы закончились. На тумбочке появился еще один журнал – с новым рассказом – который я выпросил и прочел у окна на двенадцатом этаже, в конце рабочего дня, когда солнце катилось к западу и застилало крыши оранжевым. Единственное окно факультета, которое я мог видеть отсюда, горело в оранжевых лучах, и казалось, что на краю поля сияет звездочка.

Рассказ меня, однако, не впечатлил. Он оставил какое-то тягостное, душное впечатление – и это впечатление слишком остро расходилось с теплым вечером и оранжевой звездочкой. Когда я возвращал журнал, Павел Александрович спросил меня о впечатлениях.

– Очень, – соврал я.

– Сейчас с публикациями беда, – сказал он. – Тиражи мизерные, как бы совсем не закрылись.

– Как ваш роман? – спросил я.

Он сделал удивленное лицо.

– Роман?

И развел руками.

– Есть кое-что, но очень сыро. Не знаю, что и думать.

Я пожелал ему всяческих успехов и выразил уверенность в том, что роман – каким бы сырым он ни был сейчас – ждет блестящая будущность.

Именно в этот момент я впервые заметил, что говорю с Павлом Александровичем как бы на равных – как будто мы с ним теперь находились в одной плоскости и могли стоять лицом к лицу. Мне стало не по себе.

Спустя еще несколько визитов я понял, что центр правовой помощи уплыл куда-то далеко от меня, что он живет по своим законам, в своем измерении, а для меня это измерение – закрыто. Все чаще мне было неловко – и остальным в моем присутствии, наверное, тоже было неловко. А если неловкости я не чувствовал, то казалось, что я сплю и вижу происходящее сквозь тусклое стекло.

Я стал приходить реже, а потом и вовсе прекратил – и заглядывал в центр только если бывал на факультете по учебе – так или иначе, а сессию приходилось сдавать.

Закадыка отлипнуть не мог от зубрилы и стал совсем невыносимым. Кроме того, из-за тирана у него возникли какие-то проблемы с успеваемостью, и ему стало совсем не до меня.

Новый год в центре праздновали в тот же день, что и в офисе. Офис гудел, корпоративили с размахом. Я уже окончательно влился в коллектив и чувствовал себя как рыба в воде. Я довольно быстро захмелел, мне торжественно вручили медальку «За правовую греблю», я станцевал какой-то дикий танец с прыжками и улюлюканьем и отправился бродить по коридорам – приходить в чувство.

Исходив вдоль и поперек наш этаж – за каждой дверью гремела музыка – я поехал на двенадцатый. Тут было тихо, только в самом начале коридора тянулось из-за стены глухое нестройное пение в несколько голосов. Я добрался до своего окна и распахнул его.

В меня тараном ударил поток ледяного воздуха – я даже зашатался. Стоял поздний вечер, почти ночь, сверху сплошной стеной сыпались хлопья снега. Повсюду горели огни, мигали гирлянды, все искрилось и тонуло в снежной круговерти – и если поле еще можно было различить, то стена факультета растворилась и исчезла. Сколько я ни щурился, я не мог ее разглядеть – и даже испугался.

Таращился в окно, пока совсем не замерз.

Когда разъезжались, я попросил таксиста завернуть к факультету и долго стучался в стеклянную дверь, рискуя ее разнести. Таксист кричал что-то, опустив окно, но я от него отмахивался.

Наконец из темного мутного нутра выплыл, точно диковинная рыба, сторож. Он подплыл к самому стеклу, внимательно посмотрел на меня и показал мне кулак.

Я сделал умоляющее лицо. Он посмотрел еще внимательней, а потом защелкал замком и приоткрыл дверь.

– Ты сдурел? – спросил он. – Сейчас охрану вызову.

Я решительно потребовал, чтобы меня пустили в центр правовой помощи праздновать Новый год. И даже попытался протиснуться внутрь.

– Охрану вызову! – прикрикнул сторож. – Нет тут никого! Разошлись давно!

Я не поверил и снова попытался протиснуться внутрь. И тогда сторож поступил подло. Он посмотрел за мое плечо и сказал:

– Вон они, только ушли.

Я дернулся, развернулся всем телом и был уже готов кричать:

– Павел Александрович!

Дверь за моей спиной закрылась, замок щелкнул – дважды. Я ахнул. Я медленно повернулся, но сторожа за стеклом уже не было. Я различал темные очертания коридора, расходящегося в стороны, лестницу и гардероб, но сторожа не было.

Я на всякий случай несколько раз дернул ручку, а потом ко мне подошел таксист и сказал, что если я сейчас не сяду в такси, он уедет – и чихать он хотел на меня и на то, что я не заплатил, но в черный список он меня обязательно воткнет, и ни один таксист со мной больше знаться не захочет. В завершение он сверкнул глазами – и пошел к машине.

Я вздохнул и, повесив голову, побрел следом.

\*\*\*

Начало года выдалось каким-то совсем уж юридическим – я не вылезал из арбитражного суда и при этом стал своим в кадастровой палате, архитектуре, налоговой, у нотариуса, и даже в юстиции смог примелькаться. Из центра правовой помощи ко мне продолжали захакивать мои старые клиенты – и, помимо прочих, та тетка, для которой я считал когда-то проценты по долгу. У нее была теперь небольшая фирма, и она каждую неделю прилетала ко мне с кипой документов.

Как-то раз она мне сказала, размешивая ложечкой кофе – мы встречались в крохотном кафе на первом этаже:

– Ну а что же ваш начальник? Пишет?

Я пересчитывал листы в очередном заявлении, слушал невнимательно и сперва решил, что она про моего нынешнего начальника.

– Да, конечно.

Она вздохнула мечтательно и стала смотреть в окно.

За окном мело – снега высыпало по колено, на припаркованных автомобилях росли сугробы.

– Все, – сказал я, складывая бумаги в папку, – все верно.

Я тоже посмотрел за окно.

– Но сегодня, боюсь, не успею. Если в понедельник?

– Да, конечно.

Она продолжала смотреть на снегопад, а мне надо было торопиться наверх.

– Здорово, когда у человека есть какая-то отдушина, – сказала она, наконец.

– Да.

– Я раньше... Как сказать... Живописью увлекалась, даже мольберт купила. Но как-то не вышло.

Я промолчал.

– А так хочется какую-то отдушину иметь.

Она посмотрела на меня.

– Может, мне тоже попробовать писать?

Я пожал плечами.

– У Павла Александровича, – сказал я, – это не отдушина.

– А что же?

Я задумался.

– Не знаю... Нечто большее.

Она поджала губы.

– Это он вам сказал?

Я снова задумался.

– Нет. Кажется, он такого не говорил. Но это же и так видно.

Она повернулась к окну, и минуту мы сидели молча, а потом я извинился и ушел.

В марте директор отправил меня в столицу – на тот самый форум, на который мы однажды ехали втроем. Форум был ежегодный. И на этот раз я уже не клевал носом – быть может, потому, что всю дорогу спал, – и исправно конспектировал то, о чем говорили на сцене. Я искал глазами Павла Александровича или кого-то из центра, но никого не увидел. Впрочем, зал был большой, и всех разглядеть я, конечно, не мог.

Когда я в очередной раз оказался в центре, то увидел за окном кормушку для птиц. Она была аккуратно закреплена проволокой прямо на столбе – на уровне окна. Простенькая и очень милая. Дело было весной, и в ней белели семечки.

– Однажды прилетела сорока, – сказал закадыка.

Он осунулся и казался встревоженным.

– Когда пиво пойдем пить? – спросил я.

Он замахал руками.

– Какое пиво? Ни на что времени нет.

А ведь я только позавчера видел, как они с зубрилой под ручку по парку гуляют. Видел, но не подошел, разумеется.

Павел Александрович, напротив, выглядел бодрее, чем обычно. Его наградили какой-то грамотой за заслуги перед отечественной юриспруденцией и в сотый раз переиздали трактат об авторском праве.

– Пишете что-нибудь? – спросил я у него.

– Пишу, конечно, – бодро ответил он.

– Поделитесь?

Он хитро улыбнулся и подмигнул.

– В свое время – обязательно.

Ближе к выпускным экзаменам на меня обрушилось столько работы, что я взвыл. Теперь у меня времени не осталось ни на что – сидел, не разгибаясь, с утра до вечера, клепал договоры и зубрил доставшиеся от Наташки лекции. У Наташки почерк был немногим лучше, чем у турецкого старика, и я временами только что волосы на голове не рвал.

Но сами экзамены прошли на удивление безболезненно. Самым жутким, конечно, был тиран, но мне каким-то чудом достался единственный билет, который я знал назубок. У тирана то ли голова болела, то ли он не выспался – я отвечал одним из последних, и было видно, что он сам устал и хочет поскорее все свернуть.

Он посмотрел на меня своим леденящим студенческую душу взглядом и спросил:

– Четверка устроит или поспрашивать?

Я закусил губу, чтобы не зарыдать от радости, и выпорхнул из аудитории.

А вот с дипломом вышел казус. Все нормальные темы разобрали в первые дни, и мне досталась такая дикая заумь, что и сказать нельзя. И Павла Александровича в руководители я заполучить не успел. Моим руководителем оказался какой-то дядька из Москвы, который к нам приезжал не чаще раза в месяц, не понятно, зачем вообще числился в штате, и с которым мы переписывались по электронной почте. Я нутром чувствовал, что мой диплом для него – такая же мука, как и для меня, и мы мучали друг друга по переписке месяца, наверное, три, пока не настал день защиты и я не проплыл сквозь заводь зауми, руководимый строгой, но способной на сопереживание комиссией. Тут меня тоже ждала четверка, но совсем шаткая, перекосившаяся, на подпорках, и из аудитории я не выпорхнул, а вывалился, истекая потом.



Весь этот период прошел как в чадy – работа и учеба слились воедино, у меня голова звенела как колокол, и даже глаз начал дергаться. Закадыка метался в ужасе, тиран его за что-то невзлюбил и всячески третировал, а Павел Александрович пытался заступиться и хоть чем-то помочь. Центр, как только начались экзамены, закрылся для посетителей и вновь переаквалифицировался в кабинет психологической поддержки – но мне это уже было непонятно, и я старался избегать «исповедей». В основном в центре сидел, выпучив глаза, закадыка, а зубрила его утешала и успокаивала.

Даже она возненавидела тирана.

– Это непрофессионально! – вспыхивала она.

А закадыка только качался на стуле и кивал.

Когда я выпорхнул с четверкой, он на меня чуть с кулаками не набросился, – он отвечал трижды и едва-едва избежал направления на пересдачу, удовлетворившись тройкой. У меня язык чесался над ним подшутить, сказать, что, мол, везет лучшим, но я решил, что это будет слишком жестоко.

Так, изгибаясь и громыхая, экзамены проплыли мимо нас, как причудливый сон. Впереди было торжественное вручение дипломов и выпускной.

\*\*\*

Дипломы вручали со всей торжественностью – в актовом зале главного корпуса, под аплодисменты родителей – у моих глаза горели так, словно я нобелевскую премию брал, даже бабушка пришла и все полтора часа не отнимала платка от глаз. Гремели фанфары. Декан каждому – даже девчонкам – жал до хруста руку, говорил о том, что наше время – переломное, что сегодня как никогда нужны честные, молодые, горящие энтузиазмом юристы, для которых «идеал» – не пустой звук, а ориентир и камертон.

У выпускников был такой вид, словно их сейчас, сразу после торжественной части, погрузят в вагон и отправят куда-нибудь на север, в тайгу – это подступала к нашим умам Великая Неопределенность взрослой жизни.

Чтобы получить диплом, надо было постоять в очереди – прямо на сцене. Я, пока стоял, искал в зале знакомые лица. Вот родители. Бабушка утирает слезы. Вот Марина Викторовна, вот старик-криминалист. А вот и тиран – даже отсюда видно презрение в глазах.

Задрожал беззвучно карман – уже третий раз звонили с работы, очередное срочное поручение. Нашупал телефон и сбросил.

Назвали мою фамилию, я выступил из очереди, пересек сцену, услышал, как хрустят в могучей руке декана мои пальцы, принял синюю книжечку, в которую втиснулись, скрипя, пять лет учебы, расплылся в улыбке и посмотрел в зал. Во втором ряду сидел Павел Александрович.

Потом сновали между кресел, обнимались, фотографировались. Какой-то смельчак полез с благодарностями к тирану, тот решил, что над ним вздумали смеяться. Забирались на сцену, спускались с нее, хлопали друг друга по плечам, перекидывались междометиями. Потом вывалились на улицу, нас всех щелкнули одним кадром, на память, мы еще раз хором вздохнули, и вдруг сотню человек словно ветром сдуло – у каждого были свои планы на два с половиной часа, которые отделяли торжественную часть от ресторана.

Мы с закадыкой, например, побежали пить пиво.

Так и сидели, в костюмах, галстуках в том самом кабаке – с окнами на факультет – и пили посреди дня. Телефон разрывался.

– Может, тебя уже уволили? – спросил закадыка.

– Тогда бы не звонили.

Я взял трубку. Бухгалтер не могла найти на моем столе договор подряда. Я вежливо объяснил, что договоры подряда живут не на столе, а в соответствующей папке в шкафу, удостоверился в том, что пропажа найдена, и сообщил, что готов ответить на все вопросы, кроме одного: почему я сегодня взял день за свой счет?

Закадыка, между тем, зарился на второй бокал. Видно было, что он нервничает.

- А мы тут... – начал он, но осекся.  
– Что?  
– А Павла Александровича снова в журнал взяли.  
– Здорово.

Стоял жаркий, ясный день. На наш столик падала целая скатерть солнечного света, закадыка задумчиво двигал бокал из стороны в сторону – и на его лице плясали солнечные зайчики.

- Как работа? – спросил он.  
Я пожал плечами.  
Он вздохнул.

- А я вот ничего подыскать не могу.  
Я попытался его ободрить. Он выслушал и выдавил, краснея:  
– А у вас там как? Нет еще местечка?

Настала моя очередь возить бокалом по столу. Разговоры о расширении шли, но как-то неуверенно.

- Пока нет, – сказал я.  
– Ну, ладно.

Я допил первый бокал, закадыка – второй.

- Пойдем, – сказал я. – Хороший ты темп взял, нам еще на банкете сидеть.  
Закадыка вдруг заерзал.

- погоди, – сказал он, – я же все сказать хотел.

Он набрал побольше воздуха, сделал важное лицо и медленно произнес:

- Мы решили пожениться.

Он это сказал с такой торжественностью, что я даже растерялся.

- Поздравляю, – сказал я.

Потом опомнился и схватил его руку:

- Поздравляю!

Потом встал, вытащил его из-за стола и обнял:

- Поздравляю!

Закадыка расчувствовался и шумно дышал. Я испугался, что он сейчас заплачет.

- Молодцы! – воскликнул я.

Хотя если бы мне светила перспектива стать мужем зубрилы, я бы, наверное, попросил политического убежища где-нибудь за границей.

- Еще по одной? – спросил он, усаживаясь.

Я ответил категоричным отказом. Мы немного посидели, обсуждая предстоящее событие – решить-то они решили, но подробностей пока не было – расплатились и стали собираться.

\*\*\*

Когда мы прибыли, в ресторане уже было не протолкнуться, шум стоял невообразимый, две трети горящих энтузиазмом юристов, для которых «идеал» – не пустое слово, были уже порядком навеселе, среди них метался худенький прилизанный ведущий, поздравлял, жал руки и все норовил ухватить бокал-другой шампанского.

Юристки наши пришли точно на бал, шуршали платьями, цокали каблуками, и у каждой на голове вместо волос красовалось по башне. Зубрила сияла всеми цветами радуги, даже из башни выглядывали украшения, словно их там кто-то забыл. Она держала закадыку под локоть, во всеуслышание называла «дорогим» и следила за тем, чтобы его тарелка не пустела.

- Как работа? – спросила она меня.

Я пожал плечами. Не думаю, что ей и впрямь была интересна моя работа.

- А меня берут в арбитражный суд, – сказала она. – Секретарем заседания.

- Поздравляю.

Только я хотел прибавить, что лучше самому доплатить, но не соваться в арбитражный суд, как раздался истошный вопль – это ведущий призывал всех к тишине.

И началось.

Ведущий пытался искрометно шутить, вызывал преподавателей – говорить тосты, выпускников – делиться впечатлениями, анонсировал танцевальные паузы и даже что-то пел. К тому моменту, как принесли жаркое, меня уже потряхивало от его голоса.

Между мной и закадыкой стояла бутылка коньяка, но зубрила как-то по-особому держала его под локоть, и он почти не пил – а мне приходилось отдуваться за двоих. Потом закадыка дважды куда-то выходил и во второй раз вернулся с диким взглядом, кренясь набок. Зубрила насыпала ему в тарелку лимонных долек, он звонко поцеловал ее и стал грызть дольки одну за другой – кривясь и краснея.

Кто-то из преподавателей взошел на сцену и спел. Еще кто-то отобрал у ведущего микрофон и, чуть не плача, признавался, что такого замечательного курса у него никогда не было.

– И если бы только не одно «но»! – восклицал он.

Но что это за «но» и чем сулило отсутствие этого «но» – он не говорил.

Потом началось вообще что-то невообразимое. Ведущий стал по одному зазывать самых ретивых выпускников за сцену и наряжать их. Кончилось тем, что из-за сцены выкатился некто в костюме медведя, споткнулся и растянулся на паркете. Ему помогли подняться, все стали гадать, кто прячется под маской, а медведь пустился в пляс, перебирая лапами прямо по столам с едой, чтобы не рухнуть снова.

Я очень долго чувствовал себя совершенно трезвым, а потом вдруг понял, что сижу в кресле на первом этаже, а закадыка кричит мне в ухо:

– Вот по чему я действительно буду скучать, так это по центру! Не по тебе, слышишь! Не по тебе! Ты меня бросил, ты мне не друг! Ты нас всех бросил!

Мне стало очень обидно, я молча смотрел на него, а потом сказал что-то, встал с кресла и, качаясь, вышел на улицу.

Вечер был теплый и душистый. Напротив крыльца раскидывалась аллея, уставленная желтыми фонарями. Было уже совсем темно, по аллее бродили наши – прогуливались, сидели на скамейках. Из окон второго этажа доносилась музыка и крики ведущего.

На одной из скамеек сидел Павел Александрович.

– Можно? – спросил я.

Он подвинулся. Какое-то время сидели молча.

– Вас опубликовали, – сказал я, стараясь четко выговаривать слова. – Поздравляю.

– Спасибо.

Снова помолчали, а потом он сказал с внезапной горечью:

– Хотя какой в этом смысл?

По голосу я понял, что и он не совсем трезв.

Я возмутился.

– Как это какой? Огромный смысл!

Он махнул рукой.

– Огромный смысл! – повторил я. – Это же... Это же...

И я раскинул руки в стороны, словно что-то обхватывал.

– Тот старик, хитрый турецкий старик, он говорил, что вы... что вы – о-о-о!

Он снова махнул рукой. Потер ладонями лицо.

– Я пишу... очень давно. Лет двадцать. И что?

Я задохнулся:

– Как что?

Он скривился.

– Несколько публикаций, напечатанный студентами сборник... Это несерьезно.

Я даже расстроился.

– Вы что? – сказал я, – Вы зачем? Ну уж нет. Ни у кого не получается, а у вас ведь получается!

Мысли путались, я хотел что-то сказать, но никак не мог понять, что именно.

– Тот рассказ, – сказал я, наконец. – Про мальчика. На школьном дворе.

Он кивнул.

– Ведь это – о-о-о, – я снова раскинул руки.

Он засмеялся и хлопнул меня по плечу.

– Как работа? – спросил он.

Я повеселел.

– Хорошо.

– Вот и славно.

Кто-то высунулся в окно второго этажа и на всю аллею закричал:

– Юрфа-ак!

– Пойдем, – сказал Павел Александрович. – Поздно уже, скоро сворачиваться будут.

Мы встали и двинулись к крыльцу. Я шел мимо фонарей, мимо скамеек, и меня охватывало какое-то жуткое, томительное чувство – как будто я сейчас расстанусь с чем-то важным, дорогим, с чем никогда не собирался расставаться. Строго говоря, студенческая жизнь для меня закончилась с выходом на работу, но теперь она не просто заканчивалась, а как будто исчезала, растворялась. И мне стало так тоскливо, что даже ком к горлу подкатил.

– Хорошо вам, – сказал я Павлу Александровичу. – Мы вот уходим, а вы остаетесь.

Он хмыкнул.

На крыльце стоял, прислонившись к колонне, закадыка. Увидев нас, он закричал и бросился вперед.

Павел Александрович даже отпрыгнул в сторону.

– Прости меня, прости! – завыл закадыка, заключая меня в объятия. – Ты мой друг, друг!

А я скотина, скотина!

И все слова он повторял по два раза.

– Уйди, – прохрипел я. – Задушишь.

А он продолжал голосить:

– Это я тебя бросил, а не ты меня! Я! Друг ты мне, друг!

Вокруг собиралась толпа.

– Оттащите его кто-нибудь, – задохнулся я.

Но закадыка вдруг сам разжал руки и отступил на шаг.

– Да, – сказал он, глядя мне в глаза, – я поступил недостойно.

Все молчали.

– Но! – продолжал он. – Это все потому, – он повысил голос, – потому что я пьян!

Последние слова он выкрикнул так, что слышно было, наверное, даже на факультете.

Из-за его спины вынырнула зубрила. Она ухватила его за локоть и, причитая, потащила в ресторан. Закадыка не сопротивлялся – только запел что-то вполголоса.

А потом запускали воздушные фонари. Уж не знаю, что они символизировали – то ли наше студенчество, то ли нашу юность, то ли и то, и другое – но выглядело все очень трогательно. Четыре сияющих фонаря медленно поползли вверх, к ночному небу, бросая на столпившихся выпускников теплые отсветы. Пятый скривился в руках ведущего и чуть не загорелся, его облили минеральной водой, свернули и спрятали в пакет.

Я стоял рядом с трезвеющим закадыкой – у него были мокрые волосы и серо-зеленое лицо, зубрила подпирала его плечом – и смотрел вверх. На небе белели точки звезд, из-за облака выглядывал щербатый месяц, а четыре фонаря плыли себе над кронами, все уменьшаясь и уменьшаясь.

– Поздравляю! – крикнул тоненько ведущий.

Ему никто не ответил, все смотрели на фонари. Несколько человек захлопали и осеклись.

\*\*\*

С той ночи прошло около полутора лет.

Я врос в профессию если не по плечи, то по грудь уж точно. По узкую впалую грудь человека, не вылезавшего из-за письменного стола.

Юриспруденция оказалась небоскребом с паутиной коридоров, по которой хоть сто лет ходи – всех закоулков не переглядишь. За одной дверью открывалась другая, за ней третья, за ней четвертая – и так далее. Коридоры скрещивались, давали петлю, оканчивались тупиком. Я то стонал, хватаясь за голову, то с восторгом шептал себе под нос:

– Я – юрист.

Настоящий юрист, всамделишный, заправский (насколько можно стать заправским в такой смешной срок) – и мне уже казалось, что я только для того и был рожден на свет, чтобы закопаться во все эти ГК, ГПК, ЖК, ТК, СК и иже с ними.

В коридорах юриспруденции мне все чаще встречались знакомые лица – мои однокурсники бродили тут так же, как и я, – кто-то пугливо, на цыпочках, кто-то – громыхая и трубя перед собой. Прежняя жизнь, в которой почему-то не было этих коридоров, казалась маленькой, странной и полупрозрачной, а иногда казалось, что ее и не было вовсе.

Всякий раз, как попадал в арбитраж, заглядывал к зубриле – она вытянулась, похудела и теперь носила очки. Закадыке не везло – перебивался разовыми делами в какой-то консультации. Он, наоборот, растолстел и, кажется, стал ниже, чем раньше. Мы старались поддерживать дружеские отношения изо всех сил, но они все таяли, таяли против нашей воли – и как-то вдруг растворились, разом, и никто уже ни на кого не обижался. Он придумал себе досуг – при первой возможности собирал удочки и ехал рыбачить. Звал меня, я даже раз или два соглашался – но не проникся и потом всякий раз искал повод для отказа. Встречаясь, мы говорили только про факультет, вспоминали учебу, центр – а новых тем не появлялось. Я смотрел на него и думал, что у нас была очень хорошая дружба и, вероятно, когда-нибудь мне будет очень жаль, что она закончилась.

На факультет я первое время после выпуска зачастил – выпускной всколыхнул воспоминания, переживания. Сидел в центре, пил кофе, общался с Павлом Александровичем – но все время чувствовал какую-то тяжесть; и с ним мы тоже в основном вспоминали – а если заводили речь о профессии, то вдруг как будто превращались в двух совсем других людей – и уже они говорили между собой, а я только смотрел, слушал и молчал, как будто из-за стекла. Разговоры о творчестве свелись к дежурному:

– Как пишется?

– Ничего.

– Когда ждать роман?

– Завтра. Или послезавтра. Или через год. А может, никогда.

И на этих словах Павел Александрович выдавливал из себя усмешку.

Да и многие в то время гостили на факультете – всякий раз я встречал сразу нескольких однокурсников. Но я еще перед выпускным заметил, что Наташка сперва стала бывать куда реже, а теперь и вовсе не появляется – и был готов к тому, что и меня рано или поздно постигнет та же участь.

И со временем – постигла. Я проезжал мимо факультета по два раза на дню, но заходил крайне редко, или даже не заходил, а топтался минуту-другую на крыльце, сидел на скамейке – и ехал дальше.

Вдобавок ко всему мы сменили офис, я не мог уже в любой момент рвануть на двенадцатый этаж, к окну – и вместе с этим, кажется, оборвалась последняя тоненькая нить, органически связывавшая меня с alma mater.

Но спустя полтора года после выпускного, зимой, когда я и думать забыл о факультете, – появился вдруг повод бросить все и нестись в центр правовой помощи с гиканьем и свистом.

Поводом стал альманах современной фантастической прозы, обосновавшийся на одном из стеллажей нашего книжного. Смешно сказать – я совершенно не помню, зачем вообще зашел туда; все мое чтение вмещалось в рассылку справочной системы. Однако же я оказался в

книжном, и между этажами меня встретил, сияя своей улыбкой, хитрый турецкий старик. Ну, как встретил? Его фотография встретила. Его фотография как-то ловко крепилась к стенду, была закована в пластиковую рамку – чтоб не унесли, не иначе – старик сидел за столом и улыбался. В руках он держал книгу, которую демонстрировал объективу; из-за одного его плеча выглядывало чучело совы, из-за другого – окно с видом на море. Прямо поверх старика, бежали кислотного цвета буквы:

«Альманах современной фантастической прозы».

И ниже:

«Составитель – такой-то».

Такой-то – так, вероятно, звали моего знакомого.

Тут же, на стеллаже, стояли в ряд несколько солидных альманахов. Я взял один в руки.

Обложка представляла собой что-то несусветное – друг на друга громоздились звезды, планеты, космические корабли. Все это накрывала вуалью прозрачная карта какого-то материка, во все стороны неслись буквы и символы, у меня с непривычки в глазах зарябило. На обороте было то же самое, но добавлялась фотография старика, два восхищенных отзыва и сплюснутый абзац аннотации.

Из аннотации становилось ясно, что старик является составителем альманаха и что у него есть какие-то там заслуги перед отечественной фантастикой, раз его мнению настолько доверяют.

Фотография на обложке была та же, что и на стенде, и если бы старик держал книгу на ней обратной стороной, получилась бы презабавная стариковская бесконечность.

Еще до того, как я полез в содержание, я знал, что Павел Александрович – там. Но у меня все равно дыхание перехватывало – до того я разволновался. Сначала мне стало жарко, потом холодно, а потом мне показалось, что стеллажи вибрируют.

Я неуклюже тер пальцами уголки страниц в поисках содержания.

Вот и оно.

А вот и Павел Александрович.

У меня сердце чуть не выпрыгнуло из груди, было такое чувство, словно это мой рассказ напечатали в книге и теперь продают, вот так, на одной полке с... ого-го с кем.

Этого рассказа я прежде не видел. Он был приличным по объему и начинался с чьей-то короткой реплики:

– Ты совершенно права.

Я закрыл книгу. Вцепился в нее обеими руками. На нетвердых ногах спустился по лестнице, подошел к кассе. Расплатился. Направился к двери.

За дверью меня ждал тихий зимний вечер. Было совсем светло: горели фонари, горели в домах окна, горели фары проползающих мимо автомобилей, горели белизной сугробы вдоль тротуара. В небе горели звезды, и луна выглядывала из-за крыши, тоже похожая на сугроб – сияющий. Щеки защипало от мороза, я выдохнул облачко белого пара и прижал попку к груди.

В одном месте на тротуаре была протерта черная ледяная полоса – и вокруг нее сновали дети: разбегались, скользили, падали с хохотом.

Мне страсть как захотелось прокатиться, но дверь за спиной отворилась и в меня врзалась пышная дама с огромной сумкой. Я чуть с крыльца не упал.

– Просите, – сказал я, улыбаясь, как дурак.

– Прощаю, – сказала она и пошла по тротуару.

Я передумал кататься и пошел к машине – улыбаясь.

Дома я прочел почти половину альманаха – но рассказ Павла Александровича почему-то не трогал. А утром, показавшись на работе и проверив почту, я набрал себе поручений в городе и помчался на факультет.

День был какой-то бело-серый. Толстым слоем лежал на всем мягкий рассыпающийся в руках снег, а небо было затянуто облаками – и от этого все вокруг казалось тихим и спокойным.

Неспокойным, кажется, был только я – я даже напевал что-то себе под нос. У меня было прекрасное настроение, такого воодушевления я не испытывал, наверное, никогда.

Факультет лежал под снегом, как под одеялом, и казалось, что он лежит на боку, что вот растает снег, и он распрямится, вытянется вверх. Он выглядел совсем игрушечным среди высоток, стоящих вдоль дороги. Я подумал, что когда-нибудь настанет день, который предсказывала тетка с процентами, – из-за макушки факультета покажется каркас новой стройки, а потом над ним нависнет гигантский дом, и не факультетом уже будет заканчиваться дорога, а домом – и всем будет казаться, что эта смешная хибарка с широкими окнами здесь возникла как-то случайно, некстати, и что ей, конечно, здесь совсем не место.

Но даже это не могло омрачить моих мыслей – все виделось чем-то очень далеким, чем-то, чего я уж точно застать не смогу.

По дороге в обе стороны брели редкие фигурки студентов. Я ехал мимо, и не мог понять, что же в них есть эдакое, что сразу отличает их от меня, Наташки, закадыки и прочих, *взрослых* людей.

Припарковался перед клумбой, на которой рос горбом сугроб. Взял книгу. Проскрипел по снегу до крыльца, толкнул стеклянную дверь. Справа, в окошке, показалось лицо вахтера – он сразу меня узнал, прищурился через очки, потом кивнул и отвернулся.

За стойкой гардероба, в лесу из курток, сидела гардеробщица – та же самая. По лестнице шел старик-криминалист – тот же. Шел медленно, перебирая какие-то документы. Светился особенным, зеленоватым светом холл, уплывал в стороны, темнея, коридор.

И тут...

И тут – зазвенел звонок.

Я аж подпрыгнул. Наверное, это был какой-то новый звонок – куда громче старого.

По факультету пронесся гул, точно земля вдруг затряслась. Гул нарастал, разворачивался – и разом, как по команде, со всех сторон, изо всех углов хлынул на меня поток галдящих, кричащих, смеющихся студентов. Тысяча голосов сплелась в один огромный клубок, и он все рос, рос – пока не заполнил холл до самого потолка. Казалось, стекла вот-вот начнут трескаться.

На какую-то секунду я решил, что оглох.

А вокруг меня бурлил настоящий поток. Распахнулись двери, и, чтобы меня не вынесло на улицу, я должен был юркнуть к гардеробу. Поток менял свое течение, рассыпался на волны и водовороты и пребывал в непрерывном движении. Тут наверняка были свои гольфстримы и лабрадоры, свои марианские впадины и мели. Одну мель я знал – и ринулся к буфету. Меня отбросило, я чуть не повалился навзничь, но не на того напали – ринулся снова, кому-то наступил на ногу, кого-то толкнул плечом, у кого-то выбил из рук конспекты, чуть не уронил книгу, но оказался-таки у деревянной стойки, за которой прятались сосиски в тесте, пирожки с капустой, шоколадки и прочая студенческая еда. Меня тут же повлекло в сторону новой волны, повсюду мелькали щеки, шевелюры, носы, воротнички, портфели, гам стоял невообразимый. Меня повлекло – но я вцепился в стойку, как в борт лодки, а потом, прижимаясь к ней грудью, перехватывая руками, зажав альманах под мышкой, дополз до высокого столика, самого дальнего, укромного, у окна, и навалился на него, как на спасательный круг.

У столика стояла девчушка с чашкой чая и кругами вокруг серых глаз. Она посмотрела на меня с испугом.

– Привет, – прохрипел я.

– Привет, – ответила она и упорхнула.

Я обогнул столик и положил на него руки – так, чтобы никто уже не мог напроситься мне в компаньоны. Я был – в дутом пуховике, и руки мои казались огромными, а я ими еще и книгу держал. Я как-то изогнулся и растянул пуховик, ослабил шарф.

И только тогда выдохнул.

Меня толкали, задевали, оттоптали все туфли, но я держался и уже не боялся утонуть. Даже получалось вычленять из грохота волн отдельные реплики.

- Гражданское!
- Диплом!
- Конференция!
- Семинар!

Казалось, что это чайки носятся над бушующим морем и что-то кричат.

За окном было то же самое – студенты сновали туда-сюда с дикой скоростью, как муравьи, мельтешили, путались, двоились, исчезали и пропадали.

И ни одного знакомого лица. Как будто меня не было тут лет двадцать.

Я стал скользить взглядом вокруг себя – никого. Вот кто-то похожий, но нет, не он. Вот... нет.

А потом я поднял глаза и увидел, что на втором этаже, облокотившись на перила, стоит старик-криминалист и устало смотрит в окно над моей головой. Он стоял в самом сердце бури, над гремящей бездной, студенты осаждали перила, хватались за них, опирались, свешивались, крича друг на друга, а криминалист стоял себе и смотрел задумчиво в окно. Его взгляд казался канатом, натянутым между утесами, за него можно было ухватиться и перебраться с одного на другой.

А потом по лестнице спокойно спустилась Ирина Васильевна из деканата.

Не сбежала, озираясь, боясь быть унесенной, а просто спустилась.

А потом на той стороне, по коридору, прошла, разговаривая, как ни в чем не бывало, с лаборантом, Марина Викторовна.

И эти странные люди, пресловутый «педагогический состав», вдруг стали похожи на колонны, стоящие посреди моря. Море сыпет волнами, кипит, вращается, а они стоят и только на солнце сверкают. А если идет снег, то их так присыпает немножко, серебрит.

А потом мне представилось, что и я – часть этого моря, что я сам – соленая вода, бьющаяся то о берег, то о колонны. Что меня тянет за собой луна, и от этого я перекатываюсь из волны в волну, рассыпаю пену.

А им вот луна нипочем.

Снова зазвенел – совсем тихо – звонок. Море содрогнулось, замолчало, но тут же взревело с новой силой – и студенты, сталкиваясь, понеслись во все стороны, подхватывая на бегу тетради и опрокидывая залпом дымящиеся пластиковые стаканы.

Через минуту воцарилась тишина.

\*\*\*

Я еще немного постоял, глядя по сторонам. В ушах звенело, я с трудом мог поверить, что когда-то спокойно чувствовал себя в этом хаосе.

В следующий миг я с трудом мог поверить, что этот хаос вообще был – до того вдруг стало тихо.

Я сжал книгу в ладонях, сполз со столешницы и медленно пошел к лестнице. Каждый мой шаг отдавался глухим эхом. Пролет, квадратная площадка, стенд «Жизнь студенческого актива», еще пролет.

Вот я и наверху.

Диванчики, пышные фикусы, расписание. Смешная доска «Их ищет деканат». Под расписанием, на плитке, лежит одиноко синяя шариковая ручка – кто-то выронил в спешке. В обе стороны расправляет рукава коридор с вечно горящими бледными лампами. Ряды закрытых дверей. И кажется, что за дверьми – ничего нет. Стена или поле, или такой же коридор, и так до бесконечности.

Даже деканат закрыт.

Я обернулся, положил ладонь на теплое дерево перил – лакированное, и от этого кажущееся липким. Поймал на себе взгляд гардеробщицы, улыбнулся.



За широкими окнами – серая дорога, стиснутая с обеих сторон, клумбы с сугробами, ползет сверху редкий снежок, машину мою уже припорошило, припудрило, надо будет помахать щеткой.

– Прогульщик? – спросила гардеробщица.

Смешно спросила. Не «прогуливаешь?», а «прогульщик?». Как будто это такой чин, звание, можно и не прогуливать, но оставаться прогульщиком.

Я пожал плечами, повернулся и пошел к центру.

Постучал.

Тоненький голос ответил:

– Войдите.

Я потянул ручку.

В центре ничего не изменилось – вообще ничего. Как будто я здесь был вчера, все на своих местах, с закрытыми глазами что угодно найду.

Вот триумфальная тумбочка. Альманаха не видно. Вот столы, стулья, казенные чашки, которые лень мыть. Белое поле, белое небо, падает снежок – и кажется, что одно перетекает в другое. На той стороне – щетина деревьев и прямоугольники домов.

И бледный щербатый столб перед самым окном.

Павла Александровича в центре не было. За моим компьютером, сидела, съездившись, девчушка с чаем, та самая, которую я спугнул за столиком. Серые глаза, темные круги. Она смотрела на меня едва ли не с ужасом.

– Здравствуйте, – сказал я.

– Здравствуйте.

Первый курс, не старше.

Я крикнул, прошел мимо нее, обогнул стол Павла Александровича и уселся в кресло.

Теперь я не сомневался – она смотрит с ужасом.

– Я тут это, – сказал я, – подожду.

Она кивнула.

Компьютер был выключен, я наклонился, нащупал кнопку. Раздалось знакомое гудение.

Девчушка защелкала мышкой, несколько раз стукнула по клавиатуре, потом снова уставилась на меня. Я молчал и смотрел в монитор. Она отвернулась.

На столе стоял новый артефакт – изумрудного цвета яйцо на изящной трехногой подставочке. Я осторожно взял – тяжелое. Вернул на место.

Я обернулся – вот и Наташкин цветок, сидит себе в горшке, смотрит на поле. Поле гладкое, ровное, точно белое озеро, и снежок совсем редкий, еще чуть-чуть – совсем перестанет, и тогда будет казаться, что время остановилось, что все застыло, уснуло.

– Простите, – подала голос девчушка.

Я повернулся.

– Марины Викторовны сегодня не будет.

Я пожал плечами.

Девчушка замолчала, взяла со стола ручку, повертела ее, положила обратно. Посмотрела в монитор и снова повернулась ко мне.

– Простите.

– Да?

– Я могу вам чем-то помочь?

– Вряд ли.

Пауза.

– А кого вы ждете? Сегодня уже никого не будет.

Эта новость меня расстроила. Я уже сочинил для Павла Александровича торжественное поздравление.

– И Павла Александровича? – спросил я.

Девчушка нахмурилась.

– Павла Александровича?

– Да.  
Она встряхнула волосами.  
– Так он же это, – она кивнула на дверь, – уехал.  
Настала моя очередь хмуриться.  
– Уехал?  
– Да.  
– Уволился?  
– Нет.  
– Отпуск?  
– Академический.

Я откинулся в кресле и уставился на часы.

В соответствии с действующим законодательством работники сферы образования имеют право на такую штуку – академ. Уходят в отпуск на год, а место за ними сохраняется. Оплачивается или нет – зависит от того, что написано в коллективном договоре.

За дверью раздались шаги, послышались голоса – они приближались, приближались, потом стали удаляться.

Я смущенно кашлянул и встал.

– А куда он уехал, вы не знаете?

– Не знаю.

– Не в Европу?

Она покачала головой.

– А у меня тут его книга... – грустно сказал я зачем-то и показал на альманах.

Девчушка сделала удивленное лицо.

– Вы читали его рассказы? – спросил я.

Она кивнула.

– И как вам?

– Очень хорошо.

Я открыл книгу, нашел оглавление и повернул к ней.

– А этот читали?

Она прищурилась.

– Нет.

– И я нет.

Я закрыл книгу и подошел к двери.

– Извините, – сказал я.

– Ничего.

И она улыбнулась – очень мило, надо сказать.

– Ну, до свидания, в таком случае.

– Всего доброго.

Я опять кашлянул, толкнул дверь и вышел.

В коридоре было тихо. Я развернулся, приоткрыл дверь и заглянул внутрь:

– Простите, – сказал я.

Девчушка выглянула из-за монитора.

– Выключите компьютер, пожалуйста, – я показал на компьютер Павла Александровича.

Она кивнула.

Я сделал шаг назад и медленно закрыл дверь.

\*\*\*

Медленно прошел я до лестницы, медленно спустился в холл, медленно пересек его, попрощался с вахтером, с гардеробщицей – она покачала головой – и вышел.

Слева, у лавок, топтались несколько студентов, вдалеке, на том конце дороги, мелькали автомобили, с неба спускались последние, едва заметные снежинки.

Я постоял на крыльце, переминаясь с ноги на ногу, обернулся, посмотрел сквозь стеклянную дверь на часы в холле, потом на книгу – и зашагал в сторону, вдоль окон.

Я прогарцевал мимо поточной аудитории, ловя на себе завистливые взгляды, мимо лаборантской, мимо библиотечки, в которую никто из студентов не заходил, и свернул за угол.

Вот и тот самый белый бок, который я наблюдал с двенадцатого этажа. Узкое окошко под крышей – оранжевая звездочка – сугробы, норвящие привалиться к стене. В одном месте из сугроба торчит пластиковый стакан – и в нем тоже снег.

Было тихо, я слышал каждый свой шаг. С крыши свисали тонкие прозрачные сосульки.

Вот и поле.

Пока я шел, последние снежинки приземлились, и все застыло. Поле лежало передо мной ровное, белоснежное, задумчивое.

Я двинулся мимо окон – спокойно, глядя перед собой.

В аудиториях было светло, теплился желтый свет ламп, а по эту сторону царилла какая-то фантастическая белизна. Здесь снег почти не чистили – и я тут же загреб полные туфли.

Чем дальше я шел, тем глубже был снег – дважды я порывался вернуться, но было неловко перед студентами, перед которыми я только что так важничал. Перед заветным окном – нынешнего архива – снегу было чуть ли не по колено, я старался шагать как можно шире, поднимал ноги, как цапля, и размахивал руками, чтоб не упасть.

Со стороны могло показаться, что я пытаюсь взлететь.

Тишина стояла – невероятная. Если бы не скрип снега под ногами, я бы решил, что оглох.

В архиве было темно. К самому окну прижимались стеллажи, забитые пухлыми папками.

Я привстал на цыпочки, оперся о подоконник и ткнулся носом в стекло, всматриваясь. Папки громоздились друг на друга, трещали по швам, из них выглядывали неряшливо белые уголки. Стеллажи шли один за другим двумя тесными рядами, между ними оставался небольшой узенький проходик, и в этот проходик – у меня даже глаза заболели от напряжения – можно было разглядеть дверь, а в двери кружок глазка.

На меня нахлынула такая тоска, что я отпрянул. Кому нужен теперь этот глазок? Кто в него смотрит?

Я обернулся. Все молчало – поле, небо; ни звука, ни ветерка. Даже стройки на той стороне затихли. У меня перехватило дыхание. Я открыл книгу, нашел рассказ Павла Александровича, и читал его в полной тишине, а когда прочел, почувствовал, что ужасно замерз – ноги заоченели.

Я закрыл книгу и уже собрался уходить – но вдруг вспомнил про розу ветров.

Заглянул под скат подоконника – вот она, родимая. Неровная, будто испуганная, усыпанная какими-то бледными царапинами – ключ соскальзывал – даже немного заваленная вбок. Не чета той, наверху.

И все же – так радостно было смотреть на нее; если бы не холод – сел бы и смотрел. Я оглянулся по сторонам – никого? – а потом наклонился и неловко поцеловал ее. Губы обожгло ледяным шершавым камнем. Я тут же выпрямился и завертел головой – точно ли никого?

Никого не было. Вокруг меня клубилась густая беззвучная белизна, уплывающая вдаль и выгибающаяся шатром. Хотелось коснуться этой белизны, втянуться в нее, полететь сквозь нее.

Я с минуту еще стоял, раздумывая: в какую сторону пойти, чтобы вернуться?

Наконец решился – и пошел.